



Ч. ДИКЕНСЪ

СВЯТОЧНЫЕ

РАЗСКАЗЫ

Чарльз Диккенс

Битва жизни

Серия «Рождественские повести»

Кудрявцев Г.Г.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=132213

Содержание

Часть первая	4
Часть вторая	43
Часть третья	95

Чарльз Диккенс

БИТВА ЖИЗНИ

Повесть о любви

Часть первая

Давным-давно, все равно когда, в доблестной Англии, все равно где, разыгралась жестокая битва. Разыгралась она в долгий летний день, когда, волнуясь, зеленели немало полевых цветов, созданных Всемогущей Десницей, чтобы служить благоуханными кубками для росы, почувствовали в тот день, как их блестящие венчики до краев наполнились кровью и, увянув, поникли. Немало насекомых, подражавших своей нежной окраской безобидным листьям и травам, были запятнаны в тот день кровью умирающих людей и, уползая в испуге, оставляли за собой необычные следы. Пестрая бабочка уносила в воздух кровь на краях своих крылышек. Вода в реке стала красной. Истоптанная почва превратилась в трясины, и мутные лужицы, стоявшие в следах человеческих ног и конских копыт, отсвечивали на солнце тем мрачным багровым отблеском.

Не дай нам бог видеть то, что видела луна на этом поле, когда, взойдя над темным гребнем дальних холмов, неяс-

ным и расплывчатым от венчавших его деревьев, она поднялась на небо и взглянула на равнину, усеянную людьми, которые лежали теперь, неподвижные, лицом вверх, а некогда, прижавшись к материнской груди, искали взглядом материнских глаз или покоились в сладком сне! Не дай нам богу узнать те тайны, которые услышал зловонный ветер, проносясь над местом, где в тот день сражались люди и где той ночью царили смерть и муки! Не раз сияла одинокая луна над полем битвы, и не раз глядели на него со скорбью звезды; не раз ветры, прилетавшие со всех четырех стран света, веяли над ним, прежде чем исчезли следы сражения.

А они не исчезали долго, но проявлялись лишь в мелочах, ибо Природа, которая выше дурных человеческих страстей, скоро вновь обрела утраченную безмятежность и улыбалась преступному полю битвы, как она улыбалась ему, когда оно было еще невинным. Жаворонки пели над ним в высоте; ласточки носились взад и вперед, камнем падали вниз, скользили по воздуху; тени летящих облаков быстро гнались друг за дружкой по лугам и нивам, по лесу и брюквенному полю, но крышам и колокольне городка, утонувшего в садах, и уплывали в яркую даль, на грань земли и неба, где гасли алые закаты. На полях сеяли хлеб, и он поспевал, и его убирали в житницы; река, некогда багровая от крови, теперь вертела колесо водяной мельницы; пахари, посвистывая, шагали за плугом; косцы и сборщики колосьев спокойно занимались своей работой; овцы и волы паслись на пастбище; мальчиш-

ки кричали и перекликались в полях, отпугивая птиц; дым поднимался из деревенских труб; воскресные колокола мирно позванивали; старики жили и умирали; робкие полевые животные и скромные цветы в кустарниках и садах вырастали и гибли в положенные для них сроки; и все это – на страшном, обгавленном кровью поле битвы, где тысячи людей пали в великом сражении.

Но вначале среди растущей пшеницы кое-где виднелись густо-зеленые пятна, и люди смотрели на них с ужасом. Год за годом появлялись они на тех же местах, и было известно, что на этих плодородных участках множество людей и коней, погребенных вместе, лежат в удобренной их телами земле. Фермеры, пахавшие эти места, отшатывались при виде кишевших там огромных червей, а снопы, сжатые здесь, много лет называли «снопами битвы» и складывали отдельно, и никто не запомнит, чтобы хоть один такой «сноп битвы» положили вместе с последними собранными с полей снопами и принесли на «Праздник урожая». Долго еще из каждой проведенной здесь борозды появлялись на свет божий осколки оружия. Долго еще стояли на поле битвы израненные деревья; долго валялись на местах ожесточенных схваток обломки срубленных изгородей и разрушенных стен; а на вытоптанных участках не росло ни травинки. Долго еще ни одна деревенская девушка не решалась приколоть к волосам или корсажу цветок с этого поля смерти, – даже самый красивый, – и спустя многие годы люди все еще верили, что яго-

ды, растущие там, оставляют неестественно темные пятна на срывающей их руке.

И все же годы, хоть и скользили они один за другим так же легко, как летние облака по небу, с течением времени уничтожили даже эти следы давнего побоища и стерли в памяти окрестных жителей предания о нем, пока не стали они как старая сказка, которую смутно вспоминают зимним вечером у камелька, но с каждым годом забывают все более. Там, где полевые цветы и ягоды столько лет росли нетронутыми, теперь были разбиты сады, выстроены дома, и дети играли в войну на лужайках. Израненные деревья давным-давно пошли на дрова, что пылали и трещали в каминах, и наконец сгорели. Темно-зеленые пятна в хлебах были теперь не ярче, чем память о тех, кто лежал под ними в земле. Время от времени лемех плуга все еще выворачивал наружу куски заржавленного металла, но никто уже не мог догадаться, чем были когда-то эти обломки, и нашедшие их недоумевали и спорили об этом между собой. Старый, помятый панцирь и шлем уже так давно висели в церкви над выбеленной аркой, что дряхлый, полуслепой старик, тщетно стараясь рассмотреть их теперь в вышине, вспоминал, как дивился на них еще ребенком. Если б убитые здесь могли ожить на мгновение – каждый в прежнем своем облике и каждый на том месте, где застигла его безвременная смерть, то сотни страшных изуверченных воинов заглянули бы в окна и двери домов; возникли бы у очага мирных жилищ; наполнили бы, как зерном,

амбары и житницы; встали бы между младенцем в колыбели и его няней; поплыли бы по реке, закружились бы вокруг мельничных колес, вторглись бы в плодовый сад, завалили бы весь луг и залегли бы грудами среди стогов сена. Так изменилось поле битвы, где тысячи и тысячи людей пали в великом сражении.

Нигде, быть может, оно так не изменилось, как там, где лет за сто до нашего времени, рос небольшой плодовый садик, примыкавший к старому каменному дому с крыльцом, обвитым жимолостью, – садик, где в одно ясное осеннее утро звучали музыка и смех и где две девушки весело танцевали друг с дружкой на траве, а несколько деревенских женщин, стоя на приставных лестницах, собирали яблоки с яблонь, порой отрываясь от работы, чтобы полюбоваться на девушек. Какое это было приятное, веселое, простое зрелище: погожий день, уединенный уголок и две девушки, непосредственные и беспечные, танцующие радостно и беззаботно.

Я думаю, – и, надеюсь, вы согласитесь со мной, – что, если б никто не старался выставлять себя напоказ, мы и сами жили бы лучше, и общение с нами было бы несравненно приятнее для других. Как хорошо было смотреть на этих танцующих девушек! У них не было зрителей, если не считать сборщиц яблок на лестницах. Им было приятно доставлять удовольствие сборщицам, но танцевали они, чтобы доставить удовольствие себе (по крайней так казалось со стороны), и так же невозможно было не восхищаться ими, как

им – не танцевать. И как они танцевали!

Не так, как балетные танцовщицы. Вовсе нет. И не так, как окончившие курс ученицы мадам Такой-то. Ни в какой степени. Это была не кадриль, но и не менуэт даже не крестьянская пляска. Они танцевали не в старом стиле и не в новом, не во французском стиле и не в английском, но, пожалуй, чуть-чуть в испанском стиле, – хоть сами того не ведали, – а это, как мне говорили, свободный и радостный стиль, и его прелесть – в том, стук маленьких кастаньет придает ему характер обаятельной и вольной импровизации. Легко кружась друг за дружкой, девушки танцевали то под деревьями сада, то опускаясь в рощицу, то возвращаясь на прежнее место, казалось, что их воздушный танец разливается по солнечному простору, словно круги, расходящиеся по воде. Их распущенные волосы и развевающиеся юбки, упругая трава под их ногами, ветви, шелестящие в утреннем возне, яркая листва, и пятнистые тени от нее на мягкой юной земле, ароматный ветер, веющий над полями и охотно вращающий крылья отдаленной ветряной мельницы, – словом, все, начиная с обеих девушек и кончая далеким пахарем, который пахал на паре коней, так отчетливо выделяясь на фоне неба, точно им кончалось все в мире, – все, казалось, танцевало.

Но вот младшая из танцующих сестер, запыхавшись и весело смеясь, бросилась на скамью передохнуть. Другая прислонилась к ближнему дереву. Бродячие музыканты – арфист и скрипач – умолкли, закончив игру блестящим пас-

сажем, – так они, вероятно, желали показать, что ничуть не устали, хотя, сказать правду, играли они в столь быстром темпе и столь усердствовали, соревнуясь с танцовками, что не выдержали бы и полминуты дольше. С лестниц пчелиным жужжанием донесся гул одобрения, и сборщицы яблок, как пчелы, снова взялись за работу.

Взялись тем усерднее, быть может, что пожилой джентльмен, не кто иной, как сам доктор Джедлер (надо вам знать, что и дом и сад принадлежали доктору Джедлеру, а девушки были его дочерьми), поспешно вышел из дому узнать, что случилось и кто, черт возьми, так расшумелся в его усадьбе, да еще до завтрака. Он был великий философ, этот доктор Джедлер, и недолюбливал музыку.

– Музыка и танцы сегодня! – пробормотал доктор, остановившись. – А я думал, девочки со страхом ждут нынешнего дня. Впрочем, наша жизнь полна противоречий... Эй, Грейс! Эй, Мэрьон! – добавил он громко. – Что вы тут, все с ума посошли?

– А хоть бы и так, ты уж не сердись, отец, – ответила его младшая дочь, Мэрьон, подбежав к нему и заглядывая ему в лицо, – ведь сегодня чей-то день рождения.

– Чей-то день рождения, кошечка! – воскликнул доктор. – А ты не знаешь, что каждый день – это чей-то день рождения? Или ты не слыхала, сколько новых участников ежеминутно вступает в эту – ха-ха-ха! невозможно серьезно говорить о таких вещах, – в эту нелепую и смехотворную игру,

называемую Жизнью?

– Нет, отец!

– Ну, да конечно нет; а ведь ты уже взрослая... почти, – сказал доктор. – Кстати, – тут он взглянул на хорошенькое личико, все еще прижимавшееся к нему, – сдастся мне, что это твой день рождения?

– Неужто вспомнил, отец? – воскликнула его любимая дочка, протянув ему алые губки для поцелуя.

– Вот тебе! Прими вместе с поцелуем мою любовь, – сказал доктор, целуя ее в губы, – и дай тебе бог еще много-много раз – какая все это чепуха! – встретить день!

«Желать человеку долгой жизни, когда вся она – просто фарс какой-то, – подумал доктор, – ну и глупость! Ха-ха-ха!»

Как я уже говорил, доктор Джедлер был великий философ, сокровенная сущность его философии заключалась в том, что он смотрел на мир как на грандиозную шутку, чудовищную нелепость, не заслуживающую внимания разумного человека. Поле битвы, на котором он жил, глубоко на него повлияло, как вы вскоре поймете.

– Так! Ну, а где вы достали музыкантов? – спросил Доктор. – Того и гляди, курицу стащат! Откуда они взялись?

– Музыкантов прислал Элфред, – промолвила его дочь Грейс, поправляя в волосах Мэрьон, растрепавшихся во время танца, скромные полевые цветы, которыми сама украсила их полчаса назад, любуясь юной красавицей сестрой.

– Вот как! Значит, музыкантов прислал Элфред? – пере-

спросил доктор.

– Да. Он встретил их, когда рано утром шел в город, – они как раз выходили оттуда. Они странствуют пешком и провели в городе прошлую ночь, а так как сегодня день рождения Мэрьон, то Элфред захотел сделать ей удовольствие и прислал их сюда с запиской на мое имя, в которой пишет, что, если я ничего не имею против, музыканты сыграют Мэрьон серенаду. – Вот-вот! – небрежно бросил доктор. – Он всегда спрашивает твоего согласия.

– И так как я согласилась, – добродушно продолжала Грейс, на мгновение умолкнув и откинув назад голову, чтобы полюбоваться хорошенькой головкой, которую украшала, – а Мэрьон и без того была в чудесном настроении, то она пустилась в пляс, и я с нею. Так вот мы и танцевали под музыку Элфред, пока не запыхались. И мы решили, что музыка потому такая веселая, что музыкантов прислал Элфред. – Правда, Мэрьон?

– Ах, право, не знаю, Грейс. Надоедаешь ты мне с этим Элфредом!

– Надоедаю, когда говорю о твоём женихе? – промолвила старшая сестра.

– Мне вовсе не интересно слушать, когда о нём говорят, – сказала своенравная красавица, обрывая лепестки с цветов, которые держала в руке, и рассыпая их по земле. – Только и слышишь, что о нём, – скучно; ну а насчет того, что он мой жених...

– Замолчи? Не говори так небрежно об этом верном сердце, – ведь оно все твое, Мэрьон! – воскликнула Грейс. – Не говори так даже в шутку. Нет на свете более верного сердца, чем сердце Элфреда!

– Да... да... – проговорила Мэрьон, с очаровательно-рассеянным видом, подняв брови и словно думая о чем-то. – Это, пожалуй, правда. Но я не вижу в этом большой заслуги... Я... я вовсе не хочу, чтобы он был таким уж верным. Я никогда не просила его об этом. И если он ожидает, что я... Но, милая Грейс, к чему нам вообще говорить о нем сейчас?

Приятно было смотреть на этих грациозных, цветущих девушек, когда они, обнявшись, не спеша прохаживались под деревьями, и хотя в их разговоре серьезность сталкивалась с легкомыслием, зато любовь нежно откликалась на любовь. И, право, очень странно было видеть, что на глазах младшей сестры выступили слезы: казалось, какое-то страстное, глубокое чувство пробивается сквозь легкомыслие ее речей и мучительно борется с ним.

Мэрьон была всего на четыре года моложе сестры, но как бывает в семьях, где нет матери (жена доктора умерла), Грейс, нежно заботившаяся о младшей сестре и всецело преданная ей, казалась старше своих лет, ибо не стремилась ни соперничать с Мэрьон, ни участвовать в ее своенравных затеях (хотя разница в возрасте между ними была небольшая), а лишь сочувствовала ей с искренней любовью. Велико чувство материнства, если даже такая тень ее, такое слабое от-

ражение, как любовь сестринская, очищает сердце и уподобляет ангелам возвышенную душу!

Доктор, глядя на них и слыша их разговор, вначале только с добродушной усмешкой размышлял о безумии всякой любви и привязанности и о том, как наивно обманывает себя молодежь, когда хоть минуту верит, что в этих мыльных пузырях может быть что-либо серьезное; ведь после она непременно разочаруется... непременно! Однако домовитость и самоотвержение Грейс, ее ровный характер, мягкий и скромный, но таивший нерушимое постоянство и твердость духа, особенно ярко представали перед доктором сейчас, когда он видел ее, такую и спокойную и непритязательную, рядом с младшей, более красивой сестрой, и ему стало жаль ее – жаль их обеих, – жаль, что жизнь это такая смехотворная нелепость. Ему и в голову не приходило, что обе его дочери или одна из них, может быть, пытаются превратить жизнь в нечто серьезное. Что поделаешь – ведь он был философ. Добрый и великодушный от природы, он по несчастной случайности споткнулся о тот лежащий на путях всех философов камень (его гораздо легче обнаружить, чем философский камень – предмет изысканий алхимиков), который иногда служит камнем преткновения для добрых и великодушных людей и обладает роковой способностью превращать золото в мусор и все драгоценное – в ничтожное.

– Бритен! – крикнул доктор. – Бритен! Подите сюда!

Маленький человек с необычайно кислым и недовольным

лицом вышел из дома и откликнулся бесцеремонным тоном:

– Ну, что еще?

– Где накрыли стол для завтрака? – спросил доктор.

– В доме, – ответил Бритен.

– А вы не собираетесь накрыть его здесь, как вам было приказано вчера вечером? – спросил доктор. – Не знаете, что у нас будут гости? Что нынче утром надо еще до прибытия почтовой кареты закончить одно дело? Что это совсем особенный случай?

– А мог я тут накрыть стол, доктор Джедлер, пока женщины не кончили собирать яблоки, мог или нет, как вы полагаете? А? – ответил Бритен, постепенно возвышая голос, под конец зазвучавший очень громко.

– Так, но ведь сейчас они кончили? – сказал доктор и, взглянув на часы, хлопнул в ладоши. – Ну, живо! Где Клеменси?

– Я здесь, мистер, – послышался чей-то голос с одной из лестниц, и пара неуклюжих ног торопливо спустилась на землю. – Яблоки собраны. Ну, девушки, по домам! Через полминуты все для вас будет готово, мистер.

Та, что произнесла эти слова, сразу же принялась хлопотать с величайшим усердием, а вид у нее был такой своеобразный, что стоит описать ее в нескольких словах.

Ей было лет тридцать, и лицо у нее было довольно полное и веселое, но какое-то до смешного неподвижное. Но что говорить о лице – походка и движения ее были так неуклюжи,

что, глядя на них, можно было забыть про любое лицо на свете. Сказать, что обе ноги у нее казались левыми, а руки словно взятыми у кого-то другого и что все эти четыре конечности были вывихнуты и, когда приходили в движение, совались не туда, куда надо, – значит дать лишь самое смягченное описание действительности. Сказать, что она была вполне довольна и удовлетворена таким устройством, считая, что ей нет до него дела, и ничуть не роптала на свои руки и ноги, но позволяла им двигаться как попало, – значит лишь в малой степени воздать должное ее душевному равновесию. А одета она была так: громадные своевольные башмаки, которые упрямо отказывались идти туда, куда шли ее ноги, синие чулки, пестрое платье из набойки самого безобразного рисунка, какой только встречается на свете, и белый передник. Она всегда носила платья с короткими рукавами и всегда почему-то ходила с исцарапанными локтями, которыми интересовалась столь живо, что постоянно выворачивала их, тщетно пытаясь рассмотреть, что же с ними происходит. На голове у нее обычно торчал маленький чепчик, прилепившись, где угодно, только не на том месте, которое у других женщин обычно покрыто этой принадлежностью туалета; зато – она с ног до головы была безукоризненно опрятна и всегда имела какой-то развинченно-чистоплотный вид. Больше того: похвальное стремление быть аккуратной и подобранной, как ради спокойствия собственной совести, так и затем, чтобы люди не осудили, порой заставляло ее проде-

лывать самые изумительные телодвижения, а именно – хвататься что-то вроде длинной деревянной ручки (составлявшей часть ее костюма и в просторечии именуемой корсетной планшеткой) и сражаться со своими одеждами, пока не давалось привести их в порядок.

Так выглядела и одевалась Клеменси Ньюком, которая, должно быть, нечаянно искажила свое настоящее имя Клементина, превратив его в Клеменси (хотя никто этого знал наверное, ибо ее глухая дряхлая мать, которую та содержала чуть не с детских лет, умерла, дожив до необычайно глубокой старости, а других родственников нее не было), и которая хлопотала сейчас, накрывая да стол, но по временам бросала работу и стояла как вкопанная, скрестив голые красные руки и потирая исцапанные локти – правый пальцами левой руки и наоборот, – и сосредоточенно смотрела на этот стол, пока вдруг не вспоминала о том, что ей не хватает какой-то вещи, и не кидалась за нею.

Вон сутяги идут, мистер! – сказала вдруг Клеменси не слишком доброжелательным тоном.

– А! – воскликнул доктор и пошел к калитке навстречу гостям. – Здравствуйте, здравствуйте! Грейс, долгая! Мэрьон! К нам пришли господа Снич и Крегс, где же Элфред?

– Он, наверное, сейчас вернется, отец, – ответила Грейс. – Ему ведь надо готовиться к отъезду, и нынче утром у него было столько дела, что он встал и ушел на свете. Доброе утро, джентльмены.

– С добрым утром, леди! – произнес мистер Сниччи, – говорю за себя и за Крегса. (Крегс поклонился.) Мисс, – тут Сниччи повернулся к Мэрьон, – целую вашу руку. – Сниччи поцеловал руку Мэрьон. – И желаю (желал он или не желал, неизвестно, ибо на первый взгляд он не казался человеком, способным на теплое чувство к другим людям), желаю вам еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день.

– Ха-ха-ха! Жизнь – это фарс! – задумчиво рассмеялся доктор, засунув руки в карманы. – Длинный фарс в сотню актов!

– Я уверен, однако, – проговорил мистер Спиччи, прислонив небольшой синий мешок с юридическими документами к ножке стола, – что вы, доктор Джедлер, никоим образом не захотели бы сократить в этом длинном фарсе роль вот этой актрисы.

– Конечно нет! – согласился доктор. – Боже сохрани! Пусть живет и смеется над ним, пока может смеяться, а потом скажет вместе с одним остроумным французом: «Фарс доигран; опустите занавес».

– Остроумный француз, – сказал мистер Сниччи, быстро заглядывая в свой синий мешок. – ошибался, доктор Джедлер, и ваша философия, право же, ошибочна от начала до конца, как я уже не раз объяснял вам. Говорить, что в жизни нет ничего серьезного! А что же такое суд, как, по-вашему?

– Шутовство! – ответил доктор.

– Вы когда-нибудь обращались в суд? – спросил мистер

Сничи, отрывая глаза от синего мешка.

– Никогда, – ответил доктор.

– Ну, если это случится, – продолжал мистер Сничи, – вы, быть может, измените свое мнение.

Крегс, от имени которого всегда выступал Сничи и который сам, казалось, не ощущал себя как отдельную личность и не имел индивидуального существования, на этот раз высказался тоже. Мысль, выраженная в этом суждении, была единственной мыслью, которой он не разделял на равных началах со Сничи; зато ее разделяли кое-какие его единомышленники из числа умнейших людей на свете.

– Суд теперь слишком упростили, – изрек мистер Крегс.

– Как? Суд упростили? – усомнился доктор.

– Да, – ответил мистер Крегс, – все упрощается. Все теперь, по-моему, сделали слишком уж простым. Это порок нашего времени. Если жизнь – шутка (а я не собираюсь это отрицать), надо, чтобы эту шутку были очень трудно разыгрывать. Жизнь должна быть жестокой борьбой, сэр. Вот в чем суть. Но ее чрезмерно упрощают. Мы смазываем маслом ворота жизни. А надо, чтобы они были ржавые. Скоро они будут отворяться без скрипа. А надо, чтобы они скрежетали на своих петлях, сэр.

Изрекая все это, мистер Крегс как будто сам скрежетал на своих петлях, и это впечатление еще усиливалось его внешностью, ибо он был холодный, жесткий, сухой человек, настоящий кремень, – да и одет он был в серое с белым, а гла-

за у него чуть поблескивали, словно из них высекали искры. Все три царства природы – минеральное, животное и растительное, – казалось, нашли в этом братстве спорщиков своих представителей: ибо Сничичи походил на сороку или ворона (только он был не такой прилизанный, как они), а у доктора лицо было сморщенное, как мороженое яблоко, с ямочками, точно выклеванными птицами, а на затылке у него торчала косичка, напоминавшая черенок.

Но вот энергичный красивый молодой человек в дорожном костюме, сопровождаемый носильщиком, тащившим несколько свертков и корзиночек, веселый и бодрый – под стать этому ясному утру, – быстрыми шагами вошел в сад, и все трое собеседников, словно братья трех сестер Парок, или до неузнаваемости замаскированные Грации, или три вещей пророчицы на вересковой пустоши¹, вместе подошли к нему и поздоровались с ним.

– Поздравляю с днем рождения, Элф! – весело проговорил доктор.

– Поздравляю и желаю еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день, мистер Хитфилд, – сказал Сничичи с низким поклоном.

– Поздравляю! – глухо буркнул Крегс.

– Кажется, я попал под обстрел целой батареи! – воскликнул Элфред останавливаясь. – И... один, два, три... все трое

¹ ...три вещей пророчицы на вересковой пустоши... – три ведьмы из трагедии Шекспира «Макбет», напороочившие герою власть и славу.

не предвещают мне ничего хорошего в том великом море, что расстилается передо мною. Хорошо, что я не вас первых встретил сегодня утром, а то подумал бы, что это не к добру. Нет, первой была Грейс, милая ласковая Грейс, поэтому я не боюсь всех вас!..

– Позвольте, мистер, первой была я, – вмешалась Клеменси Ньюком. – Она гуляла здесь в саду, когда еще солнце не взошло, помните? А я была в доме.

– Это верно, Клеменси была первой, – согласился Элфред. – Значит, Клеменси защитит меня от вас.

– Ха-ха-ха! – говорю за себя и за Крегса, – сказал Снич. – Вот так защита!

– Быть может, не такая плохая, как кажется, – проговорил Элфред, сердечно пожимая руку доктору, Сничу и Крегсу и оглядываясь кругом. – А где же... Господи боже мой!

Он рванулся вперед, отчего Джонатан Снич и Томас Крегс на миг сблизились теснее, чем это было предусмотрено в их деловом договоре, подбежал к сестрам, и... Впрочем, мне незачем подробно рассказывать о том, как он поздоровался, сперва с Мэрьон, потом с Грейс; намекну лишь, что мистер Крегс, возможно, нашел бы его манеру здороваться «слишком упрощенной».

Быть может, желая переменить тему разговора, доктор Джедлер велел подавать завтрак, и все сели за стол. Грейс заняла место хозяйки, и предусмотрительно села так, что отделила сестру и Элфреда от всех остальных. Снич и Крегс

сидели в конце стола друг против друга, поставив синий мешок между собой для большей сохранности, а доктор занял свое обычное место против Грейс. Клеменси, как наэлектризованная, носилась вокруг стола, подавая кушанья, а меланхолический Бритен, стоя за другим, маленьким, столом, нарезал ростбиф и окорок.

– Мяса? – предложил Бритен, приближаясь к мистеру Сничу с большим ножом и вилкой в руках и бросая в гостя вопрос, как метательный снаряд.

– Непременно, – ответил юрист.

– А вы желаете? – спросил Бритен Крегса.

– Нежирного и хорошо прожаренного, – ответил сей джентльмен.

Выполнив эти приказания и положив доктору умеренную порцию (Бритен как будто знал, что молодежь и не думает о еде), он стал около владельцев юридической конторы настолько близко, насколько это позволяли приличия, и строгим взором наблюдал, как они справлялись с мясом, причем он один лишь раз утратил суровое выражение лица. Это случилось, когда мистер Крегс, чьи зубы были не в блестящем состоянии, чуть не подавился; тогда Бритен, внезапно оживившись, воскликнул: «Я думал уж, ему крышка!»

– Ну, Элфред, – сказал доктор, – давай поговорим о деле, пока мы завтракаем.

– Пока мы завтракаем, – сказали Снич и Крегс, которые, видимо, не собирались прекращать это занятие.

Элфред не завтракал, а дел у него, должно быть, и без того хватало, но он почтительно ответил.

– Пожалуйста, сэр.

– Если и может быть что-нибудь серьезное, – начал доктор, – в таком...

– ...фарсе, как жизнь, сэр, – закончил Элфред.

– ...в таком фарсе, как жизнь, – подтвердил доктор, – так это, что мы сегодня накануне разлуки жениха в невесты празднуем их день рождения... ведь это день, связанный со многими воспоминаниями, приятными для нас четверых, и с памятью о долгой дружбе. Впрочем, это не относится к делу.

– Ах, нет, нет, доктор Джедлер! – возразил молодой человек. – Это относится к делу, прямо к нему относится, и нынче утром об этом говорит мое сердце, да и ваше также, я знаю, – только не мешайте ему. Сегодня я уезжаю из вашего дома; с нынешнего дня я перестаю быть вашим подопечным; наши давние дружеские отношения прерываются и уже не возобновятся в том же самом виде, зато нас свяжут иные отношения, – он взглянул на Мэрьон, сидевшую рядом с ним, – но они столь значительны, что я не решаюсь говорить о них сейчас. Ну, ну, доктор, – добавил он, повеселев и слегка посмеиваясь над доктором, – есть же хоть зернышко серьезности в этой огромной мусорной куче нелепостей! Давайте согласимся сегодня, что хоть одно-то есть.

– Сегодня! – вскричал доктор. – Что он только болтает! Ха-ха-ха! «Согласимся сегодня». Надо же выбрать из всех

дней всего нелепого года именно этот день! Да ведь сегодня – годовщина великой битвы, разыгравшейся тут, на этом самом месте. Ведь здесь, где мы теперь сидим, где я видел сегодня утром, как плясали мои девочки, где только что для нас собирали яблоки, с этих вот деревьев, корни которых выросли не в почву, а в людей, – здесь погибло столько жизней, что десятки лет спустя, уже на моей памяти, целое кладбище, полное костей, костной пыли и обломков разбитых черепов, было вырыто из земли вот тут, под нашими ногами. Однако из всех участников этой битвы не наберется и ста человек, знавших, за что они сражаются и почему, а из всех легкомысленных, но ликующих победителей – и сотни, знавших, почему они ликуют. Не наберется и полсотни человек, получивших пользу от победы или поражения. Не наберется и полдюжины, согласных между собой насчет причин этой битвы, или ее последствий, и, короче говоря, никто не составил себе о ней определенного мнения, кроме тех, кто оплакивал убитых. Ну, что же тут серьезного? – закончил со смехом доктор. – Сплошная чепуха!

– Но мне все это кажется очень серьезным, – сказал Элфред.

– Серьезным! – воскликнул доктор. – Если это считать серьезным, так надо сойти с ума или умереть, или влезть на вершину горы и сидеть на ней отшельником.

– К тому же... все это было так давно, – проговорил Элфред.

– Давно! – подхватил доктор. – А ты знаешь, что делали люди с тех пор? Знаешь ты, что еще они делали? Я-то уж, во всяком случае, не знаю!

– Они порою начинали тяжбу в суде, – заметил мистер Снич, помешивая ложечкой чай.

– К сожалению, закончить ее всегда было слишком просто, – сказал его компаньон.

– И вы извините меня, доктор, – продолжал мистер Снич, – если я выскажу свое мнение, хотя вы уже тысячи раз имели возможность слышать его во время наших дискуссий: в том, что люди обращались в суд, и вообще во всей их судебной системе я вижу нечто серьезное, право же, нечто осязаемое, нечто действующее с сознательным и определенным намерением...

Клеменси Ньюком угловатым движением толкнула стол, и раздался громкий стук чашек и блюдец.

– Эй! Что там такое? – вскричал доктор.

– Да все этот зловредный синий мешок, – сказала Клеменси, – вечно подвертывается под ноги.

– С определенным и сознательным намерением, как я уже говорил, – продолжал Снич, – а это вызывает уважение. Вы говорите, что жизнь – это фарс, доктор Джедлер? Несмотря на то, что в ней есть суд?

Доктор рассмеялся и взглянул на Элфреда.

– Согласен с вами, что война безумие, – сказал Снич. – В этом мы сходимся. Объясню подробнее: вот цветущая

местность, – он ткнул вилкой в пространство, – некогда наводненная солдатами (которые все поголовно незаконно нарушали границы чужих владений) и опустошенная огнем и мечом. Да-да-да! Подумать только, что находятся люди, добровольно подвергающие себя огню и мечу! Глупо, расточительно, прямо таки нелепо; когда об этом думаешь, нельзя не смеяться над своими ближними! Но посмотрите на эту цветущую местность, какой она стала теперь. Вспомните о законах, касающихся недвижимого имущества, наследования и завещания недвижимого имущества: залога и выкупа недвижимого имущества; пользования землей на правах аренды, владения ею, сдачи в аренду с условием вносить поземельный налог; вспомните, – продолжал мистер Сниччи, который так разволновался, что даже причмокнул, – вспомните о сложнейших законах, касающихся прав на владение и доказательства этих прав, вместе со всеми связанными с ними противоречащими один другому прецедентами и постановлениями парламента; подумайте о бесчисленном количестве хитроумных и бесконечных тяжб в Канцлерском суде, которым может положить начало эта приятная местность, и сознайтесь, доктор, что в жизни нашей имеется кое-что светлое! Я полагаю, – добавил мистер Сниччи, взглянув на компаньона, – что говорю за себя и за Крегса.

Мистер Крегс знаком выразил согласие с этими словами, и мистер Сниччи, несколько освеженный своим красноречием, сказал, что не прочь съесть еще немножко мяса и выпить

еще чашку чаю.

– Я не поклонник жизни вообще, – продолжал он, потирая руки и посмеиваясь, – ибо она полна нелепостей; полна еще худших вещей. Ну а разговоры о верности, доверии, бескорыстии и тому подобном! Какая все это чепуха! Мы знаем им цену. Но вы не должны смеяться над жизнью. Вам нужно разыгрывать игру; поистине очень серьезную игру! Все и каждый играют против вас, заметьте себе, а вы играете против них. Да, все это весьма интересно! На этой шахматной доске иные ходы очень хитроумны. Смейтесь, только когда вы выигрываете, доктор Джедлер, да и то не слишком громко. Да-да-да! И то не слишком громко, – повторил Сниччи, качая головой и подмигивая с таким видом, словно хотел сказать: «Лучше не смейтесь, а тоже качайте головой и подмигивайте!»

– Ну, Элфред, что ты теперь скажешь? – воскликнул доктор.

– Я скажу, сэр, – ответил Элфред, – что вы, по-моему, окажете мне да и себе самому величайшее благодеяние, если постараетесь иногда забывать об этом поле битвы и ему подобных ради более обширного поля битвы Жизни, на которое каждый день взирает солнце.

– Боюсь, что взгляды доктора от этого не смягчатся, мистер Элфред, – сказал Сниччи. – Ведь в этой «битве жизни» противники сражаются очень яростно и очень ожесточенно. То и дело рубят, режут и стреляют людям в затылок. Топчут

друг друга и попирают ногами. Прескверное занятие.

– А я, мистер Снич, – сказал Элфред, – верю, что, несмотря на кажущееся легкомыслие людей и противоречивость их характера, бывают в битве жизни бесшумные победы и схватки, встречаются великое самопожертвование и благородное геройство, которые ничуть не становятся легче от того, что о них не говорят и не пишут; эти подвиги совершаются каждый день в глухих углах и закоулках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и женщин; и любой из таких подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему веру и надежду, хотя бы две четверти человечества воевали между собой, а третья четверть судилась с ними; и это важный вывод.

Сестры внимательно слушали.

– Ну, ну, – сказал доктор, – слишком я стар, чтобы менять свои убеждения даже под влиянием присутствующего здесь моего друга Снич или моей доброй незамужней сестры Марты Джедлер, которая когда-то давно пережила всякие, как она это называет, семейные зловключения и с тех пор всегда сочувствует всем и каждому; а взгляды ее настолько совпадают с вашими (хотя, будучи женщиной, она менее благоразумна и более упряма), что мы с нею никак не можем поладить и редко встречаемся. Я родился на этом поле битвы. Когда я был мальчиком, мысли мои были заняты подлинной историей этого поля битвы. Шестьдесят лет промчались над моей головой, и я видел, что весь христианский мир, в том

числе множество любящих матерей и добрых девушек, вроде моих дочек, прямо-таки увлекаются полями битвы. И во всем такие же противоречия. Остается только либо смеяться, либо плакать над столь изумительной непоследовательностью, и я предпочитаю смеяться.

Бритен, слушавший с глубочайшим и чрезвычайно меланхоличным вниманием каждого из говоривших, должно быть внезапно решил последовать совету доктора, если только можно было назвать смехом тот глухой, замогильный звук, что вырвался из его груди. Впрочем, и до и после этого лицо его оставалось неподвижным, и хотя кое-кто из сидевших за завтраком оглянулся, удивленный загадочным звуком, но никто не понял, откуда этот звук исходит. Никто – кроме Клеменси Ньюком, служившей вместе с Бритеном за столом, а та, расшевелив его одним из своих излюбленных суставов – локтем, – спросила укоризненным шепотом, над кем он смеется.

– Не над тобой! – сказал Бритен.

– А над кем же?

– Над человечеством, – ответил Бритен. – Вот в чем дело!

– Наслушался хозяина да сутяг этих, вот и дурет с каждым днем! – вскричала Клеменси, ткнув Бритена другим локтем для возбуждения его умственной деятельности. – Да знаешь ты или нет, где ты сейчас находишься? Хочешь, чтобы тебя уволили?

– Ничего я не знаю, – проговорил Бритен со свинцовым

взором и неподвижным лицом. – Ничем не интересуюсь. Ничего не понимаю. Ничему не верю. И ничего не желаю.

Столь безнадежная характеристика его душевного состояния, возможно, была несколько преувеличена им самим в припадке уныния, однако Бенджамин Бритен, которого иногда в шутку называли «Мало-Бритеном», намекая на сходство его фамилии с названием «Великобритания», но желая отметить различие между ними (ведь мы иногда говорим «Молодая Англия»², одновременно подчеркивая и ее связь со «Старой Англией» и их различие) – Бенджамин Бритен обрисовал свое умонастроение, в общем, довольно точно. Ведь для доктора он был примерно тем, чем Майлс был для монаха Бэкона³, и, слушая изо дня в день, как доктор разглагольствует перед разными людьми, стремясь доказать, что самое существование человека в лучшем случае только ошибка и нелепость, несчастный слуга постепенно погряз в такой бездне путаных и противоречивых размышлений, что Истина, которая, как говорится, «обитает на дне колодца», показалась бы плавающей по поверхности в сравнении

² *«Молодая Англия»* – название недолговечной реакционной партии, возникшей в начале 40-х годов и борющейся за сохранение «хлебных законов» и за возврат к феодальным формам общественных отношений.

³ *Ведь для доктора он был примерно тем, чем Майлс был для монаха Бэкона.* – «Монах Бэкон» – великий ученый английского средневековья Роджер Бэкон (1214? — 1294), неоднократно подвергавшийся преследованиям со стороны церкви. Народное предание превратило его в волшебника. В пьесе Роберта Грина «Монах Бэкон и монах Бонгэй» (1591) он тоже представлен как волшебник. Майлс – его подручный в той же пьесе Грина.

с Бритеном, погруженным в бездонные глубины своих заблуждений. Одно он понимал вполне: новые мысли, обычно приносимые в эти дискуссии Сниччи и Крегсом, не способствовали разъяснению его недоумений, но почему-то всегда давали доктору преимущество и подтверждали его взгляды. Поэтому Бритен ненавидел владельцев юридической конторы, усматривая в них одну из ближайших причин своего душевного состояния.

– Но не об этом речь, Элфред, – сказал доктор. – Сегодня ты (по твоим же словам) выходишь из-под моей опеки и покидаешь нас, вооруженный до зубов теми знаниями, которые получил в здешней школе и затем в Лондоне, а также той практической мудростью, которую мог тебе привить такой скромный старый деревенский врач, как я. Сегодня ты вступаешь в жизнь. Кончился первый испытательный срок, назначенный твоим покойным отцом, и ты – теперь уже сам себе хозяин – уезжаешь, чтобы исполнить его второе желание. Три года ты проведешь за границей, знакомясь с тамошними медицинскими школами, и уж конечно еще задолго до возвращения ты забудешь нас. Да что там! и полугодом не пройдет, как ты нас позабудешь!

– Я забуду!.. Впрочем, вы сами все знаете, что мне с вами говорить! – со смехом сказал Элфред.

– Ничего я не знаю, – возразил доктор. – А ты что скажешь, Мэрьон?

Мэрьон, вода пальчиком по своей чайной чашке, види-

мо хотела сказать, – но не сказала, – что Элфред волен забыть их, если сможет. Грейс прижала к щеке цветущее личико сестры и улыбнулась.

– Надеюсь, я не был слишком нерадивым опекуном, – продолжал доктор, – но, во всяком случае, сегодня утром меня должны формально уволить, освободить – и как это еще называется? – от моих опекунских обязанностей. Наши друзья Снич и Крегс явились сюда с целым мешком всяких бумаг, счетов и документов, чтобы ввести тебя во владение состоявшим под моей опекой имуществом (жаль, невелико оно, так что распорядиться им было нетрудно, Элфред, но ты станешь большим человеком и увеличишь его); иначе говоря, придется составить какие-то смехотворные бумажонки, а потом подписать, припечатать и вручить их тебе.

– А также надлежащим образом засвидетельствовать, согласно закону, – сказал Снич, отодвинув свою тарелку и вынимая из мешка бумаги, которые его компаньон принялся раскладывать на столе. – Но так как я и Крегс распорядились наследством вместе с вами, доктор, мы попросим обоих ваших слуг засвидетельствовать подписи. Вы умеете читать, миссис Ньюком?

– Я незамужняя, мистер, – поправила его Клеменси.

– Ах, простите! И как это я сам не догадался? – усмехнулся Снич, бросая взгляд на необычайную фигуру Клеменси. – Вы умеете читать?

– Немножко, – ответила Клеменси.

– Утром и вечером читаете тревник, – там, где написано про обряд венчания, – а? – в шутку спросил поверенный.

– Нет, – ответила Клеменси. – Это для меня трудно. Я читаю только наперсток.

– Читаете наперсток! – повторил Сниччи. – Что вы этим хотите сказать, милейшая?

Клеменси кивнула головой:

– А еще терку для мускатных орехов.

– Да она не в своем уме! Это случай для Канцлерского суда!⁴ – сказал Сниччи, воззрившись на нее.

– ...если только у нее есть имущество, – ввернул Крегс.

Тут вступилась Грейс, объяснив, что на обоих упомянутых предметах выгравировано по изречению, и они, таким образом, составляют карманную библиотеку Клеменси, ибо она не охотница читать книги.

– Так, так, мисс Грейс! – проговорил Сниччи. – Ха-ха-ха! А я было принял эту особу за слабоумную. Уж очень похоже на то, – пробормотал он, поглядев на Клеменси. – Что же говорит наперсток, миссис Ньюком?

– Я незамужняя, мистер, – снова поправила его Клеменси.

– Ладно, скажем просто Ньюком. Годится? – сказал юрист. – Так что же говорит наперсток, Ньюком?

Не стоит говорить о том, как Клеменси, не ответив на вопрос, раздвинула один из своих карманов и заглянула

⁴ *Это случай для Канцлерского суда!* – Дела об имуществе умалишенных разбирались в Канцлерском суде.

в его зияющие глубины, ища наперсток, которого там не оказалось, и как она потом раздвинула другой карман, и, должно быть, усмотрев там искомый наперсток, словно драгоценную жемчужину, на самом дне, принялась устранять все мешающие ей препятствия, а именно: носовой платок, огарок восковой свечи, румяное яблоко, апельсин, монетку, которую хранила на счастье, баранью косточку, висячий замок, большие ножницы в футляре (точнее было бы назвать их недоросшими ножницами для стрижки овец), целую горсть неснизанных бус, несколько клубков бумажных ниток, игольник, коллекцию папильоток для завивки волос и сухарь, и как она вручала Бритену все эти предметы, один за другим, чтобы тот подержал их.

Не стоит говорить и о том, что в своей решимости схватить этот карман за горло и держать его в плену (ибо он норовил вывернуться и зацепиться за ближайший угол) она вся изогнулась и невозмутимо стояла в позе, казалось бы, несовместимой с человеческим телосложением и законами тяготения. Достаточно сказать, что она в конце концов торжествуя напятила наперсток на палец и забренчала теркой для мускатных орехов, причем оказалось, что запечатленные на них литературные произведения были уже почти неразборчивы – так часто эти предметы чистили и натирали.

– Это, стало быть, и есть наперсток, милейшая? – спросил мистер Снич, посмеиваясь над Клеменси. – Что же говорит наперсток?

– Он говорит, – ответила Клеменси и, поворачивая наперсток, стала читать надпись на нем, но так медленно, как будто эта надпись опоясывала не наперсток, а башню, – он говорит: «Про-щай оби-ды, не пом-ни зла».

Сничи и Крегс расхохотались от всей души.

– Как ново! – сказал Сничи.

– Чересчур просто! – отозвался Крегс.

– Какое знание человеческой природы! – заметил Сничи.

– Неприложимо к жизни! – подхватил Крегс.

– А мускатная терка? – спросил глава фирмы.

– Терка говорит, – ответила Клеменси: – «Поступай... с другими так... как... ты... хочешь... чтобы поступали с тобой».

– Вы хотите сказать: «Наступай на других, а не то на тебя наступят»?

– Это мне непонятно, – ответила Клеменси, недоуменно качая головой. – Я ведь не юрист.

– Боюсь, что будь она юристом, доктор, – сказал мистер Сничи, внезапно повернувшись к хозяину и, видимо, желая предотвратить возможные отклики на ответ Клеменси, – она бы скоро убедилась, что это – золотое правило половины ее клиентов. В этом отношении они достаточно серьезны (хотя, по-вашему, жизнь – просто шутка), а потом валят вину на нас. Мы, юристы, в конце концов всего только зеркала, мистер Элфред; но с нами обычно советуются сердитые и сварливые люди, которые не блещут душевной красотой, и, право

же, несправедливо ругать нас за то, что мы отражаем неприглядные явления. Я полагаю, – добавил мистер Снич, – что говорю за себя и за Крегса.

– Безусловно, – подтвердил Крегс.

– Итак, если мистер Бритен будет так любезен снабдить нас глоточком чернил, – сказал мистер Снич, снова принимаясь за свои бумаги, – мы подпишем, припечатаем и вручим, и давайте-ка сделаем это поскорее, а то не успеем мы оглянуться, как почтовая карета проедет мимо.

Что касается мистера Бритена, то, судя по его лицу, можно было сказать с уверенностью, что карета проедет раньше, чем успеет оглянуться он, ибо стоял он с отсутствующим видом, мысленно противопоставляя доктора поверенным, поверенных доктору, а их клиентов – всем троим, и в то же время тщетно стараясь примирить изречения на мускатной терке и наперстке (новые для него) со всеми прочими философскими системами и путаясь так же, как путалась его великая тезка Британия во всяких теориях и школах. Но Клеменси, которая и на этот раз, как всегда, выступила в роли его доброго гения (хотя он ни во что не ставил ее умственные способности, ибо она редко утруждала себя отвлеченными размышлениями, зато неизменно оказывалась под рукой и вовремя делала все, что нужно), – Клеменси во мгновение ока принесла чернила и оказала ему еще одну услугу: привела его в себя с помощью своих локтей и столь успешно расшевелила его память – в более буквальном смысле слова,

чем это обычно говорится, – этими легкими тычками, что он сразу же оживился и приободрился.

Как он терзался – подобно многим людям его звания, не привыкшим к перу и чернилам, – не решаясь поставить свое имя на документе, написанном не им самим, из боязни запутаться в каком то темном деле или каким-то образом задолжать неопределенную, но громадную сумму денег, и как он, наконец, приблизился к документам, – приблизился неохотно и лишь под давлением доктора; и как он отказывался подписаться, пока не просмотрел всех бумаг (хотя они были для него китайской грамотой, по причине неразборчивого почерка, не говоря уж о канцелярском стиле изложения), и как он перевертывал листы, чтобы убедиться, нет ли какого подвоха на оборотной стороне; и как, подписавшись, он пришел в отчаяние, подобно человеку, лишенному состояния и всех прав, – рассказать обо всем этом мне не хватит времени. Не расскажу я и о том, как он сразу же воспылал таинственным интересом к синему мешку, поглотившему его подпись, и был уже не в силах отойти от него ни на шаг; не расскажу и о том, как Клеменси Ньюком, заливаясь ликующим смехом при мысли о важности и значении своей роли, сначала разлеглась по всему столу, расставив локти, подобно орлу с распростертыми крыльями, и склонила голову на левую руку, а потом принялась чертить какие то кабалистические знаки, весьма расточительно тратя чернила и одновременно проделывая вспомогательные движения языком. Не расска-

жу и о том, как она, однажды познакомясь с чернилами, стала жаждать их, подобно тому, как ручные тигры будто бы жаждут некоей живой жидкости, если они ее хоть раз отведали, и как стремилась подписать решительно все бумаги и поставить свое имя всюду, где только можно. Короче говоря, доктора освободили от опекуна и связанной с этим ответственности, а Элфреда, принявшего ее на себя, снарядили в жизненный путь.

– Бритен! – сказал доктор. – Бегите к воротам и посмотрите, не едет ли почтовая карета. Время бежит, Элфред!

– Да, сэр, да! – поспешно ответил молодой человек. – Милая Грейс, одну минутку! Мою Мэрьон, такую юную и прекрасную и всех пленяющую, мою Мэрьон, что мне дороже всего на свете... я оставляю, запомните это, Грейс!., на ваше попечение!

– Заботы о ней всегда были для меня священными, Элфред. А теперь будут священны вдвойне. Поверьте, я свято исполню вашу просьбу.

– Я знаю, Грейс. Я в этом уверен. Да и кто усомнится в этом, глядя на ваше лицо и слыша ваш голос? Ах, Грейс! Если бы я обладал вашим уравновешенным сердцем и спокойным умом, с какой твердостью духа я уезжал бы сегодня.

– Разве? – отозвалась она с легкой улыбкой.

– И все же, Грейс... нет, – сестра, вот как вас надо называть.

– Да, называйте меня так! – быстро отозвалась она. – Я

рада этому. Не называйте меня иначе.

– ...и все же, сестра, – сказал Элфред, – мы с Мэрьон предпочтем, чтобы ваша верность и постоянство пребывали здесь на страже нашего счастья. Даже будь это возможно, я не стал бы увозить их с собой, хоть они и послужили бы мне большой поддержкой!

– Почтовая карета поднялась на пригорок! – крикнул Бритен.

– Время не ждет, Элфред, – сказал доктор.

Мэрьон все время стояла в стороне, опустив глаза, а теперь, услышав крик Бритена, юный жених нежно подвел ее к сестре, и та приняла ее в свои объятия.

– Милая Мэрьон, я только что говорил Грейс, – начал он, – что, разлучаясь с вами, я вверяю вас ее попечению, как свое сокровище. А когда я вернусь и потребую вас обратно, любимая, и начнется наша светлая совместная жизнь, мы с величайшей радостью вместе станем думать о том, как нам сделать счастливой нашу Грейс; как нам предупреждать ее желания; как выразить ей нашу благодарность и любовь; как вернуть ей хоть часть долга, который накопится к тому времени.

Одна рука Мэрьон лежала в его руке; другая обвивала шею сестры. Девушка смотрела в эти сестринские глаза, такие спокойные, ясные и радостные, взглядом, в котором любовь, восхищение, печаль, изумление, почти благоговение слились воедино. Она смотрела в это сестринское лицо, точ-

но оно было лицом сияющего ангела. Спокойным, ясным, радостным взглядом отвечала Грейс сестре и ее жениху.

– Когда же наступит время, – а оно должно когда-нибудь наступить, – сказал Элфред, – и я удивляюсь, почему оно еще не наступило, но Грейс про то лучше знает, ведь Грейс всегда права, – когда же и для нее наступит время избрать себе друга, которому она сможет открыть все свое сердце и который станет для нее тем, чем она была для нас, тогда, Мэрьон, мы докажем ей свою преданность, и – до чего радостно нам будет знать, что она, наша милая, добрая сестра, любит и любима так, как мы ей этого желаем!

Младшая сестра все еще смотрела в глаза старшей, не оглядываясь даже на жениха. А честные глаза старшей отвечали Мэрьон и ее жениху все тем же спокойным ясным, радостным взглядом.

– А когда все это уйдет в прошлое и мы состаримся и будем жить вместе (а мы непременно будем жить вместе, все вместе!) и будем часто вспоминать о прежних временах, – продолжал Элфред, – то эти дни покажутся нам самыми лучшими из всех, а нынешний день особенно, и мы будем рассказывать друг другу о том, что думали и чувствовали, на что надеялись и чего боялись перед разлукой и как невыносимо трудно нам было расставаться...

– Почтовая карета едет по лесу! – крикнул Бритен.

– Я готов!.. И еще мы будем говорить о том, как снова встретились и были так счастливы, несмотря ни на что; и этот

день мы будем считать счастливейшим в году и праздновать его как тройной день рождения. Не правда ли, милая?

– Да! – живо откликнулась старшая сестра с сияющей улыбкой. – Да! Но, Элфред, не медлите. Время на исходе. Проститесь с Мэрьюн. И да хранит вас бог! Он прижал к груди младшую сестру. А она освободилась из его объятий, снова прижалась к Грейс, и ее, отражавшие столько разнородных чувств, глаза, встретились опять с глазами сестры, такими спокойными, ясными и радостными.

– Счастливый путь, мальчик мой! – сказал доктор. – Конечно, говорить о каких-либо серьезных отношениях или серьезных привязанностях и взаимных обязательствах и так далее в таком... ха-ха-ха! Ну, да и так знаешь мои взгляды – все это, разумеется, сущая чепуха. Скажу лишь одно: если вы с Мэрьюн будете по-прежнему упорствовать в своих смешных намерениях, я не откажусь взять тебя когда-нибудь в зятья.

– Карета на мосту! – крикнул Бритен.

– Иду, иду! – сказал Элфред, крепко пожимая руку доктору. – Думайте обо мне иногда, старый друг и опекун, думайте хоть сколько-нибудь серьезно, если можете. Прощайте, мистер Снич! До свидания, мистер Крегс!

– Едет по дороге! – крикнул Бритен.

– Надо же поцеловать Клеменси Ньюком ради старого знакомства. Жму вашу руку, Бритен! Мэрьюн, милая моя, до свидания! Сестра Грейс, не забудьте! Спокойная, скромная,

она вместо ответа повернулась к нему лицом, сияющим и прекрасным а Мэрьон не шевельнулась, и глаза ее не изменили выражения.

Почтовая карета подкатила к воротам. Началась суета с укладкой багажа. Карета отъехала. Мэрьон стояла недвижно.

– Он машет тебе шляпой, милочка, – сказала Грейс. – Избранный тобою муж, дорогая! Посмотри! Младшая сестра подняла голову и чуть повернула ее. Потом отвернулась снова, потом пристально заглянула в спокойные глаза сестры и, рыдая, бросилась ей на шею.

– О Грейс! Благослови тебя бог! Но я не в силах видеть это, Грейс! Сердце разрывается!

Часть вторая

На древнем поле битвы у Снички и Крегса была благоустроенная небольшая контора, в которой они вели свое благоустроенное небольшое дело и сражались во многих мелких, но ожесточенных битвах от имени многих тяжущихся сторон. О них вряд ли можно было сказать, что в атаку они ходили бегом – напротив, борьба шла черепашьям шагом, – однако участие в ней владельцев фирмы очень напоминало участия в настоящей войне: они то стреляли в такого-то истца, то целились в такого-то ответчика, то бомбардировали в Канцлерском суде чье-то недвижимое имущество, то бросались в драку с иррегулярным отрядом мелких должников, – все это в зависимости от обстоятельств и от того, с какими врагами приходилось сталкиваться. «Правительственный вестник» был столь же важным и полезным орудием на некоторых полях их деятельности, как и на других, более знаменитых полях битв; и про большинство сражений, в которых они показывали свое военное искусство, спорящие стороны впоследствии говорили, что им было очень трудно обнаружить друг друга или достаточно ясно разобрать, что с ними происходит, – столько им напустили дыму в глаза.

Контора господ Снички и Крегса была удобно расположена на базарной площади, и в нее вела открытая дверь и две пологие ступеньки вниз, так что любой сердитый фермер,

частенько попадающий впросак, мог с легкостью попасть в нее. Палатой для совещаний и залом для заседаний им служила невзрачная задняя комната наверху, с низким, темным потолком, который, казалось, мрачно хмурился, раздумывая над путаными параграфами закона. В этой комнате стояло несколько кожаных кресел с высокими спинками, утыканных большими медными гвоздями с пучеглазыми шляпками, причем в каждом кресле не хватало двух-трех гвоздей, выпавших или, быть может, бессознательно извлеченных большим и указательным пальцами сбитых с толку клиентов. На стене висела гравюра в рамке, изображавшая знаменитого судью в устрашающем парике, каждый локон которого внушал людям такой ужас, что их собственные волосы вставали дыбом. Пыльные шкафы, полки и столы были битком набиты кипами бумаг, а у стен, обшитых деревянной панелью, стояли рядами запертые на замок несгораемые ящики; на каждом было написано краской имя того, чьи документы там хранились, и эти имена обладали свойством притягивать взор сидящих здесь взволнованных посетителей, которые, словно околдованные злой силой, невольно читали их слева направо и справа налево и составляли из них анаграммы, делая вид что слушают Сниччи и Крегса, но не понимая ни слова в их речах.

У Сниччи и Крегса, компаньонов в делах, было по компаньону и в частной жизни, иначе говоря, по законной супруге. Но если Сниччи и Крегс были близкими друзьями и вполне

доверяли друг другу, то миссис Снич, как это нередко бывает в делах жизни, принципиально сомневалась в Крегсе, а миссис Крегс принципиально сомневалась в Снич.

– Ох, уж эти мне ваши Снич! – неодобрительно говорила иногда миссис Крегс мистеру Крегсу, произвольно употребляя множественное число, как если бы речь шла о каких-нибудь негодных штанах или другом предмете, не имеющем единственного числа. – Я просто не могу понять, что вы видите в ваших Снич... Вы, по-моему, доверяете вашим Снич гораздо больше, чем следует, и, и от души желаю, чтобы вам не пришлось когда-нибудь убедиться в моей правоте.

А миссис Снич так говорила мистеру Снич о Крегсе:

– Кто-кто, а уж этот человек безусловно водит вас нос, – ни в чьих глазах не доводилось мне видеть такого двуличия, как в глазах Крегса.

Однако, несмотря на это, все они, в общем, дружили между собой, а миссис Снич и миссис Крегс даже основали крепкий союз, направленный против «конторы», Почитая ее общим своим врагом и хранилищем страшных тайн, в котором творятся неведомые, а потому опасные козни.

Тем не менее в этой конторе Снич и Крегс собирали мед для своих семейных ульев. Здесь они иногда в ясный вечер засиживались у окна своей комнаты для совещаний, выходящей на древнее поле битвы, и дивились (обычно это бывало во время судебных сессий, когда обилие работы приводило юристов в сентиментальное расположение духа), – ди-

вились безумию людей, которые не понимают, что гораздо лучше жить в мире, а для решения своих распрей спокойно-ненько обращаться в суд. Дни, недели, месяцы, годы проносились здесь над ними, отмеченные календарем, постепенным исчезновением медных гвоздей с кожаных кресел и растущими кипами бумаг на столах. За три года, без малого, пролетевших со времени завтрака в плодовом саду, один из поверенных похудел, а другой потолстел, и здесь они сидели однажды вечером и совещались.

Не одни, но с человеком лет тридцати, который был худощав, бледен и небрежно одет, но тем не менее хорош собой, хорошо сложен и носил хороший костюм, а сейчас сидел в самом парадном кресле, заложив одну руку за полу сюртука и запустив другую в растрепанные волосы, погруженный в унылое раздумье. Господа Снич и Крегс сидели близ него за письменным столом друг против друга. На столе стоял несгораемый ящик, без замка и открытый; часть его содержимого была разбросана по столу, а остальное непрерывно проходило через руки мистера Снич, который подносил к свече один документ за другим и, отбирая бумаги, просматривал каждую в отдельности, качал головой и передавал бумагу мистеру Крегсу, который тоже просматривал ее, качал головой и клал на стол. Время от времени они бросали работу и, словно сговорившись, смотрели на своего рассеянного клиента, покачивая головой. На ящике было написано: «Майкл Уордн, эсквайр», а значит, мы можем заключить, что и это

имя и ящик принадлежали молодому человеку и что дела Майкла Уордна, эсквайра, были плохи.

– Все, – сказал мистер Снич, перевернув последнюю бумагу. – Другого выхода действительно нет. Другого выхода нет.

– Все проиграно, истрачено, промотано, заложено, взято в долг и продано. Так? – спросил клиент, поднимая голову

– Все, – ответил мистер Сними.

– И сделать ничего нельзя, так вы сказали?

– Решительно ничего.

Клиент принялся грызть себе ногти и снова погрузился в раздумье.

– И мне даже опасно оставаться в Англии? Вы это утверждаете, а?

– Вам опасно оставаться в новой части Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, – ответил мистер Снич.

– Значит, я просто-напросто блудный сын, не имеющий ни отца, к которому можно вернуться, ни свиней, которых можно пасти, ни отрубей, которыми можно питаться вместе со свиньями? Так? – продолжал клиент, покачивая одной ногой, закинутой на другую, и глядя в пол.

Мистер Снич кашлянул, видимо не считая уместной столь образную характеристику положения, предусмотренного законом. Мистер Крегс тоже кашлянул, как бы желая выразить, что разделяет мнение своего компаньона.

– Разорен в тридцать лет! – проговорил клиент. – Недурно!

– Не разорены, мистер Уордн, – возразил Сниччи. – но не так уж плохо. Вы всеми силами старались разориться, должен признать, но вы еще не разорены, можно навести порядок в...

– К черту порядок! – воскликнул клиент.

– Мистер Крегс, – сказал Сниччи, – вы не одолжите щепотки табаку? Благодарю вас, сэр. Невозмутимый поверенный взял понюшку, видимо испытывая при этом большое удовольствие, и ни на что не обращая внимания, а клиент мало-помалу повеселел, улыбнулся и, подняв голову, сказал:

– Вы говорите – навести порядок в моих делах? А как долго придется наводить в них порядок?

– Как долго придется наводить в них порядок? – повторил Сниччи, стряхивая с пальцев табак и неторопливо подсчитывая что-то в уме. – В ваших расстроенных делах, сэр? Если они будут в хороших руках? Скажем, в руках Сниччи и Крегса? Шесть-семь лет.

– Шесть семь лет умирать с голоду! – проговорил клиент с нервным смехом и в раздражении переменил позу.

– Шесть-семь лет умирать с голоду, мистер Уордн, – промолвил Сниччи, – это было бы поистине необычайно. За это время вы, показывая себя за деньги, могли бы нажить другое состояние. Но мы не считаем вас способным на это – говорю за себя и за Крегса, – и, следовательно, не советуем этого.

– Ну а что же вы советуете?

– Необходимо привести в порядок ваши дела, как я уже сказал, – повторил Сниччи. – Если мы с Креггом за это возьмемся, то через несколько лет они поправятся. Но чтобы дать нам возможность заключить с вами соглашение и соблюдать его, а вам – выполнить это соглашение, вы должны уехать, вы должны пожить за границей. Что же касается голодной смерти, то мы с самого начала могли бы обеспечить вам несколько сотен годового дохода... чтобы вам на эти деньги умирать с голоду... так-то, мистер Уордн.

– Сотен! – проговорил клиент. – А я тратил тысячи!

– В этом нет никакого сомнения, – заметил мистер Сниччи, неторопливо убирая бумаги в железный ящик. – Ника-ко-го сомнения, – повторил он как бы про себя, Задумчиво продолжая свое занятие.

Поверенный, очевидно, знал, с кем он имеет дело; во всяком случае, его сухость, пронизательность и насмешливость благотворно повлияли на приунывшего клиента, и он сделался более непринужденным и откровенным. А может быть, и клиент знал, с кем он имеет дело, и если добивался полученного им сейчас поощрения, то – как раз затем, чтобы оправдать какие-то свои намерения, о которых он собирался сказать. Подняв голову, он смотрел на своего невозмутимого советчика с улыбкой, внезапно перешедшей в смех.

– В сущности, – проговорил он, – мой твердокаменный друг...

Мистер Сничих махнул рукой в сторону своего компаньона:

– Я говорил за себя и за Крегса.

– Прошу прощения у мистера Крегса, – сказал клиент. – В сущности, мои твердокаменные друзья, – он наклонился вперед и слегка понизил голос, – вы еще не знаете всей глубины моего падения.

Мистер Сничих перестал убирать бумаги и воззрился на него. Мистер Крегс тоже воззрился на него.

– Я не только по уши в долгах, – сказал клиент, – но и по уши...

– Неужели влюблены! – вскричал Сничих.

– Да! – подтвердил клиент, откинувшись на спинку кресла, засунув руки в карманы и пристально глядя на владельцев юридической конторы. – По уши влюблен.

– Может быть – в единственную наследницу крупного состояния, сэр? – спросил Сничих.

– Нет, не в наследницу.

– Или в какую-нибудь богатую особу?

– Нет, не в богатую, насколько мне известно. Она богата лишь красотой и душевными качествами.

– В незамужнюю, надеюсь? – проговорил мистер Сничих очень выразительно.

– Конечно.

– Уж не дочка ли это доктора Джедлера? – спросил Сничих, и внезапно нагнувшись, расставил локти на коленях и вытя-

нул вперед голову, не меньше чем на ярд.

– Да, – ответил клиент.

– Уж не младшая ли его дочь? – спросил Сниччи.

– Да! – ответил клиент.

– Мистер Крегс, – сказал Сниччи, у которого гора с плеч свалилась, – вы не одолжите мне еще щепотку табаку? Благодарю вас. Я рад заверить вас, мистер Уордн, что из ваших замыслов ничего не выйдет: она помолвлена, сэр, она невеста. Мой компаньон может это подтвердить. Нам это хорошо известно.

– Нам это хорошо известно, – повторил Крегс.

– Быть может, и мне это известно, – спокойно возразил клиент. – Ну и что же? Разве вы не знаете жизни И никогда не слышали, чтобы женщина передумала?

– Случалось, конечно, что и девицы и вдовы давали обещание вступить в брак, а потом отказывали женихам, за что те предъявляли им иск о возмещении убытков, – заметил мистер Сниччи, – но в большинстве подобных судебных дел...

– Каких там судебных дел! – нетерпеливо перебил его клиент. – Не говорите мне о судебных делах. Таких случаев было столько, что их описания займут целый том, и гораздо более толстый, чем любая из ваших юридических книг. Кроме того, неужели вы думаете, что я зря прожил у доктора полтора месяца?

– Я думаю, сэр, – изрек мистер Сниччи, торжественно обращаясь к своему компаньону, – что если мистер Уордн не от-

кажется от своих замыслов, то из всех бед, в какие он время от времени попадал по милости своих лошадей (а бед этих было довольно, и обходились они очень дорого, кому об этом и знать, как не ему самому, вам и мне?), самой тяжелой бедой окажется тот случай, когда одна из этих лошадей сбросила его у докторской садовой ограды и он сломал себе три ребра, повредил ключицу и получил бог знает сколько синяков. В то время мы не особенно об этом беспокоились, зная, что он живет у доктора и поправляется под его наблюдением; но теперь дело плохо, сэр. Плохо! Очень плохо. Доктор Джедлер тоже ведь наш клиент, мистер Крегс.

– Мистер Элфред Хитфилд тоже в некотором роде клиент, мистер Снич, – проговорил Крегс.

– Мистер Майкл Уордн тоже что-то вроде клиента, – подхватил беспечный посетитель, – и довольно-таки выгодно-го клиента: ведь он десять – двенадцать лет валял дурака. Как бы то ни было, мистер Майкл Уордн вел себя легкомысленно – вот плоды, они в этом ящике, – а теперь он перебежился, решил раскаяться и поумнеть. В доказательство своей искренности мистер Майкл Уордн намерен, если это ему удастся, жениться на Мэрьон, прелестной докторской дочке, и увезти ее с собой.

– Право же, мистер Крегс... – начал Снич.

– Право же, мистер Снич, и мистер Крегс, – перебил его клиент, – вы знаете свои обязанности по отношению к вашим клиентам и, конечно, осведомлены, что вам не подоба-

ет вмешиваться в обыкновенную любовную историю, в которую я вынужден посвятить вас доверительно. Я не собираюсь увозить девушку без ее согласия. Тут нет ничего противозаконного. Мистер Хитфилд никогда не был моим близким другом. Я не обманываю его доверия. Я люблю ту, которую любит он, и если удастся, завоюю ту, которую он хотел бы завоевать.

– Не удастся, мистер Крегс, – проговорил Снич, явно встревоженный и расстроенный. – Это ему не удастся, сэр. Она души не чает в мистере Элфреде.

– Разве? – возразил клиент.

– Мистер Крегс, она в нем души не чает, сэр, – настаивал Снич.

– Нет; я ведь недаром прожил у доктора полтора месяца, и я скоро усомнился в этом, – заметил клиент. – Она любила бы его, если бы сестре удалось вызвать в ней это чувство. Но я наблюдал за ними: Мэрьон избегала упоминать его имя, избегала говорить о нем, малейший намек на него явно приводил ее в смятение.

– Но почему бы ей так вести себя, мистер Крегс, как вы думаете? Почему, сэр? – спросил мистер Снич.

– Я не знаю почему, хотя причин может быть много, – ответил клиент, улыбаясь при виде того внимания и замешательства, которые отражались в загоревшихся глазах мистера Снеча, и той осторожности, с какой он вел беседу и пытался получить нужные ему сведения, – но я знаю, что она именно

так ведет себя. Она была помолвлена в ранней юности – если была помолвлена, а я даже в этом не уверен, – и, возможно, жалела об этом впоследствии. Быть может то, что я скажу сейчас, покажется фатовством, но, клянусь, я вовсе не хочу хвалиться, быть может, она полюбила меня, как я полюбил ее.

– Ай-ай! А ведь мистер Элфред был товарищем ее детских игр, вы помните, мистер Крегс, – сказал Сниччи, посмеиваясь в смущении, – он знал ее чуть не с пеленок!

– Тем более вероятно, что он ей наскучил, – спокойно продолжал клиент, – и она не прочь заменить его новым женихом, который представился ей (или был представлен своей лошастью) при романтических обстоятельствах; женихом, который пользуется довольно интересной – в глазах деревенской барышни – репутацией, ибо жил беспечно и весело, не делая никому большого зла, а но своей молодости, наружности и так далее (это опять может показаться фатовством, но, клянусь, я не хочу хвастаться) способен выдержать сравнение с самим мистером Элфредом.

На последние слова возражать, конечно, не приходилось, и мистер Сниччи мысленно признал это, взглянув на собеседника. В самой беспечности Майкла Уордна было что-то изящное и обаятельное. При виде его красивого лица и стройной фигуры казалось, что он может стать еще более привлекательным, если захочет, а если преодолет свою лень и сделается серьезным (ведь он еще никогда в жизни не был

серьезным), то сможет проявить большую энергию. «Опасный поклонник, – подумал проницательный юрист, – пожалуй, он способен вызвать желанную искру в глазах юной девушки».

– Теперь заметьте, Снич. – продолжал клиент, поднявшись и взяв юриста за пуговицу, – и вы, Крегс! – Он взял за пуговицу и Крегса и стал между компаньонами так, чтобы ни один из них не смог увильнуть от него. – Я не прошу у вас совета. Вы правы, отмежевываясь от подобного дела, – такие серьезные люди, как вы, конечно не могут им заниматься. Я коротко обрисую свое положение и намерения, а потом предоставлю вам устраивать мои денежные дела как можно лучше: не забывайте, что, если я уеду вместе с прекрасной докторской дочкой (а так и будет, надеюсь, и под ее благотворным влиянием я стану другим человеком), это в первое время будет обходиться дороже, чем если бы я уехал один. Но я скоро заживу по-новому и все устрою.

– Мне кажется, лучше не слушать этого, мистер Крегс? – сказал Снич, глядя на компаньона из-за спины клиента.

– Мне тоже так кажется, – сказал Крегс. Но оба слушали, и очень внимательно.

– Хорошо, не слушайте, – сказал клиент. – А я все-таки продолжаю. Я не хочу просить у доктора согласия, потому что он не согласится. Но я не причиню ему никакого вреда, не нанесу никакой обиды (к тому же он сам говорит, что в таких пустяках, как жизнь, нет ничего серьезного), если спа-

су его дочь, мою Мэрьон, от того, что, как мне известно, пугает ее и приводит в отчаяние, – спасу от встречи с ее прежним женихом. Она боится его возвращения, и это истинная правда. Пока что я еще никого не обидел. А меня так травят и терзают, что я мечусь словно летучая рыба. Я скрываюсь, я не могу жить в своем собственном доме и показаться в своей усадьбе; но и этот дом, и эта усадьба, и вдобавок много акров земли когда-нибудь снова вернуться ко мне, как вы сами уверены и заверяете меня, и через десять лет Мэрьон в браке со мной наверное будет богаче (по вашим же словам, а вы не оптимисты), чем была бы в браке с Элфредом Хитфилдом, возвращения которого она боится (не забывайте этого) и который, как и всякий другой, любит ее уж конечно не сильнее, чем я. Пока что ведь никто не обижен? Дело это безупречно чистое. У Хитфилда прав на нее не больше, чем у меня, и если она решит выбрать меня, она будет моей; а решать я предоставлю ей одной. Ну, больше вы, очевидно, не захотите слушать, и больше я вам ничего не скажу. Теперь вы знаете мои намерения и желания. Когда я должен уехать?

– Через неделю, мистер Крегс? – спросил Снич.

– Немного раньше, мне кажется, – ответил Крегс.

– Через месяц, – сказал клиент, внимательно рассмотревшись в лица компаньонов. – Так вот, в четверг через месяц. Сегодня четверг. Успех ли мне предстоит, или неудача, ровно через месяц я уеду.

– Слишком долгая отсрочка, – сказал Снич, – слишком

долгая. Но пусть будет так... («Я думал, он запросит три месяца», – пробормотал он.) Вы уходите? Спокойной ночи, сэр.

– Спокойной ночи! – ответил клиент, пожимая руки владельцам конторы. – Вы еще увидите, как я обращу на благо свое богатство. Отныне моей путеводной звездой будет Мэрьон!

– Осторожней на лестнице, сэр, – сказал Сниччи, – там эта звезда не светит. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи!

Поверенные стояли на верхней площадке с конторскими свечами в руках и смотрели, как их клиент спускается по ступенькам. Когда он ушел, они переглянулись.

– Что вы обо всем этом думаете, мистер Крегс? – спросил Сниччи.

Мистер Крегс покачал головой.

– Помнится, в тот день, когда была снята опека, вы говорили, что в их прощании было что-то странное, – сказал Сниччи.

– Было, – подтвердил мистер Крегс.

– Может быть, он жестоко обманывается, – продолжал мистер Сниччи, запирая на замок несгораемый ящик и убирая его, – а если нет, что ж, ведь легкомыслие и коварство довольно обычные человеческие свойства, мистер Крегс. А мне то казалось, что ее хорошенькое личико дышит правдой. Мне казалось, – продолжал мистер Сниччи, надевая теплое пальто (погода была очень холодная), натягивая перчатки и

задувая одну из свечей, – что в последнее время она стала более сильной и решительной, более похожей на сестру.

– Миссис Крегс того же мнения, – сказал Крегс.

– Нынче вечером я охотно пожертвовал бы кое-чем, – заметил мистер Снич, человек добросердечный, – лишь бы поверить, что мистер Уордн просчитался; но хоть он и беспечен, и капризен, и неустойчив, он кое-что понимает в жизни и людях (еще бы! ведь он недешево купил свои знания), поэтому особенно надеяться не на что. Лучше нам не вмешиваться; мы должны сидеть смирно, только это нам и остается, мистер Крегс.

– Только это, – согласился Крегс.

– Наш друг доктор смеется над такими вещами, – сказал мистер Снич, качая головой, – хочу верить, что ему не придется искать утешения в своей философии. Наш друг Элфред разглагольствует о битве жизни, – он снова покачал головой, – хочу верить, что ему не придется потерпеть поражение в ближайшее же время. Вы уже взяли свою шляпу, мистер Крегс? Я сейчас погашу вторую свечу.

Мистер Крегс ответил утвердительно, а мистер Снич погасил свечу, и они ошупью выбрались из комнаты для совещаний, столь же темной теперь, как занимавшее их дело да и все судебные дела вообще.

Место действия моего рассказа переносится в маленький

кабинет, где в этот самый вечер обе сестры сидели вместе с постаревшим, но еще крепким доктором у весело пылавшего камина. Грейс шила. Мэрьон читала вслух книгу, лежавшую перед нею. Доктор, в халате и туфлях, сидел, – откинувшись на спинку кресла и протянув ноги на теплый коврик, слушал чтение и смотрел на своих дочерей.

На них было очень приятно смотреть. Самый огонь домашнего очага казался еще более ярким и священным оттого, что он озарял такие чудесные лица. За три года различие между обеими сестрами несколько сгладилось, и серьезность, давно уже свойственная старшей сестре, которая провела юность без матери, отражалась теперь на светлом личике младшей, светилась в ее глазах и звучала в ее голосе. Но по-прежнему младшая казалась и прелестнее и слабее старшей; по-прежнему она как бы склоняла голову на грудь сестры, ища совета и поддержки, по-прежнему доверялась ей во всем и смотрела ей в глаза. В эти любящие глаза, по-прежнему такие радостные, спокойные и ясные.

– «И, живя в своем родном доме, – читала вслух Мэрьон, – в доме, ставшем таким дорогим для нее благодаря этим воспоминаниям, она начала понимать, что великое испытание, предстоящее ее сердцу, скоро должно наступить, и отсрочить его нельзя. О родной дом, наш утешитель и друг, не покидающий нас и когда остальные друзья уходят – расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой...»

– Мэрьон, милая! – проговорила Грейс.

– Кошечка, – воскликнул отец, – что с тобой?

Мэрьон коснулась руки которую ей протянула сестра, и продолжала читать, и хотя голос ее по-прежнему срывался и дрожал, она сделала усилие и овладела собой.

– «Расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой всегда мучительно. О родной дом, столь верный нам, столь часто пренебрегаемый, будь снисходителен к тем, кто отвертывается от тебя, и не преследуй их упреками совести в их заблуждениях! Пусть ни добрые взгляды, ни памятные улыбки не сопутствуют твоему призрачному образу. Пусть ни один луч привязанности, радушия, мягкости, снисходительности, сердечности не изойдет от твоих седин. Пусть ни одно слово былой любви не зазвучит как приговор покинувшему тебя, но если ты можешь принять жесткое и суровое обличье, сделай это из сострадания к кающемуся!»

– Милая Мэрьон, сегодня не читай больше, – сказала Грейс, потому что Мэрьон расплакалась.

– Я не могу совладать с собой, – отозвалась Мэрьон и закрыла книгу. – Слова эти будто жгут меня.

Доктора все это забавляло, и он со смехом погладил младшею дочь по голове.

– Что ты? Так расстраиваться из-за какой то книжки! – сказал доктор Джедлер. – Да ведь это всего только шрифт и бумага! Все это, право же, не стоит внимания. Принимать всерьез шрифт и бумагу так же не умно, как принимать все-

рьез все прочее. Вытри же глазки, милая, вытри глазки. Героиня, конечно, давным-давно вернулась домой и все обошлось, а если нет, что ж, – ведь настоящий дом – это всего лишь четыре стены, а книжный – просто тряпье и чернила... Ну, что там еще?

– Это я, мистер, – сказала Клеменси, выглянув из-за двери.

– Так, а с вами что делается? – спросил доктор.

– Ах, со мной ничего не делается, – ответила Клеменси, и это была правда, если судить по ее начисто промытому лицу, как всегда сиявшему неподдельным добродушием, которое придавало ей, как она ни была неуклюжа, очень привлекательный вид. Правда, царапины на локтях, не в пример родинкам, обычно не считаются украшением женщины, но, проходя через жизнь, лучше повредить себе в этом узком проходе локти, чем испортить характер, а характер у Клеменси был прекрасный, без единой царапинки, не хуже, чем у любой красавицы в Англии.

– Со мной ничего не делается, мистер, – сказала Клеменси, входя в комнату, – но... Подойдите немножко поближе, мистер.

Доктор, слегка удивленный, последовал этому приглашению.

– Вы сказали, что я не должна давать вам это при барышнях, помните? – проговорила Клеменси.

Заметив, как она впила глазами в доктора и в какой

необычный восторг или экстаз пришли ее локти (казалось, она обнимала самое себя), новичок в этой семье мог бы подумать что упомянутое ею «это» – по меньшей мере целомудренный поцелуй. В самом деле, доктор и тот на мгновение встревожился, но быстро успокоился, когда Клеменси, порывшись в обоих своих

– карманах – сначала в одном, потом в другом, потом снова в первом, – вынула письмо, полученное по почте.

– Бритен ездил верхом по делам, – хихикнула она, протягивая доктору письмо, – увидел, что привезли почту, и подождал. В уголку стоят буквы Э. Х. Держу пари, что мистер Элфред едет домой. Быть у нас в доме свадьбе! – недаром нынче утром на моем блюде оказались две чайные ложечки. Ох, господи, да когда же он, наконец, откроет письмо!

Ей так хотелось поскорее узнать новости, что весь этот монолог она выпалила, постепенно поднимаясь на цыпочках все выше и выше, скручивая штопором свой передник и засовывая его в рот, как в бутылку. Наконец, не выдержав ожидания, – доктор все еще не кончил читать письмо, – она снова стала на всю ступню и в немом отчаянии, не в силах дольше терпеть, накинула передник на голову, как покрывало.

– Сюда, девочки! – вскричал доктор. – Не могу удержаться: я никогда не умел хранить тайны. Впрочем, много ли найдется таких тайн, которые стоило бы хранить в этой... Ну, ладно, не о том речь! Элфред едет домой, мои милые, на днях приедет!

– На днях! – воскликнула Мэрьон.

– Ага! Книжка уже позабыта? – воскликнул доктор, ущипнув ее за щечку. – Так я и знал, что эта новость осушит твои глазки. Да. «Пусть это будет сюрпризом», говорит он в письме. Но нет, никаких сюрпризов! Элфреду надо устроить великолепную встречу.

– На днях! – повторила Мэрьон.

– Ну, может, и не «на днях», как тебе, нетерпеливой, хочется, – сказал доктор, – но все же очень скоро. Посмотрим. Посмотрим. Сегодня четверг, правда? Так вот, Элфред обещает приехать ровно через месяц.

– Ровно через месяц! – тихо повторила Мэрьон.

– Сегодня радостный день и праздник для нас, – весело проговорила Грейс, целуя ее. – Мы долго ждали его, Дорогая, и, наконец, он наступил.

Мэрьон ответила улыбкой, – печальной улыбкой, но полной сестринской любви. Она смотрела в лицо сестры, слушала ее спокойный голос, когда та говорила о том, как счастливы они будут после возвращения Элфреда, и у самой Мэрьон лицо светилось надеждой и радостью.

И еще чем-то; чем-то таким, что все ярче и ярче озаряло ее лицо, затмевая все другие душевные движения, и чего я не умею определить. То было не ликование, не торжество, не пылкий восторг. Все это не проявляется так спокойно. То были не только любовь и благодарность, хотя любовь и благодарность примешивались к этому чувству. И возникло оно

не из своекорыстных мыслей, ибо такие мысли не освещают чело мерцающим светом, не дрожат на устах, не потрясают души трепетом сострадания, пробегающим по всему телу.

Доктор Джедлер, вопреки всем своим философским теориям, которые он, кстати сказать, никогда не применял на практике (но так поступали и более знаменитые философы), проявлял такой живой интерес к возвращению своего бывшего подопечного и ученика, как будто в этом событии и впрямь было нечто серьезное. И вот он снова уселся в кресло, снова протянул на коврик ноги в туфлях, снова принялся читать и перечитывать письмо и обсуждать его на все лады.

– Да, была пора, – говорил доктор, глядя на огонь, – когда во время его каникул он и ты, Грейс, гуляли под ручку, словно две живые куколочки. Помнишь?

– Помню, – ответила она с милым смехом, и в руках у нее быстро замелькала иголка.

– Ровно через месяц, подумать только! – задумчиво промолвил доктор. – А ведь с тех каникул как будто прошло не больше года. Где же была тогда моя маленькая Мэрьон?

– Она не отходила от сестры, даже когда была совсем маленькой, – весело проговорила Мэрьон. – Ведь Грейс была для меня всем на свете, хотя сама она тогда была еще ребенком.

– Верно, кошечка, верно! – согласился доктор. – Она была рассудительной маленькой женщиной, наша Грейс, и хорошей хозяйкой и вообще деловитой, спокойной, ласковой де-

вочкой; терпеливо выносила наши причуды, предупреждала наши желания, постоянно забывая в своих собственных, и все это – уже в раннем детстве. Ты даже в те времена никогда не была настойчивой и упрямой, милая моя Грейс... разве только с одним исключением.

– Боюсь, что с тех пор я очень изменилась к худшему, – со смехом сказала Грейс, не отрываясь от работы. – Что ж это за исключение, отец?

– Элфред, конечно! – сказал доктор. – С тобой ничего нельзя было поделать: ты просто требовала, чтобы тебя называли женой Элфреда; ну мы и называли тебя его женой, и как это ни смешно теперь, я уверен, что тебе больше нравилось бы называться женой Элфреда, чем герцогиней, – если бы мы могли присвоить тебе герцогский титул.

– Неужели? – бесстрастно проговорила Грейс.

– Как, разве ты не помнишь? – спросил доктор.

– Кажется, что-то припоминаю, – ответила она, – но смутно. Все это было так давно. – И, продолжая работать, она стала напевать припев одной старинной песенки, которая нравилась доктору.

– Скоро у Элфреда будет настоящая жена, – сказала она вдруг, – и тогда наступит счастливое время для всех нас. Три года я тебя опекала, Мэрьон, а теперь мое опекунство подходит к концу. Тебя было очень легко опекать. Я скажу Элфреду, когда верну ему тебя, что ты все это время нежно любила его и что ему ни разу не понадобилась моя поддержка. Могу

я сказать ему это, милая?

– Скажи ему, дорогая Грейс, – ответила Мэрьон, – что никто не смог бы опекать меня так великодушно, благородно, неустанно, как ты, и что все это время я все больше и больше любила тебя и, боже! как же я люблю тебя теперь!

– Нет, – весело промолвила сестра, отвечая на ее объяснение, – этого я ему, пожалуй, не скажу; предоставим воображению Элфреда оценить мои заслуги. Оно будет очень щедрым, милая Мэрьон, так же, как и твое.

Снова Грейс принялась за работу, которую прервала, когда сестра ее заговорила с такой страстностью; и снова Грейс запела старинную песню, которую любил доктор. А доктор по-прежнему покоился в своем кресле, протянув ноги в туфлях на коврик, слушал песню, отбивая такт у себя на колене письмом Элфреда, смотрел на своих дочерей и думал, что из всех многочисленных пустяков нашей пустячной жизни эти пустяки едва ли не самые приятные.

Между тем Клеменси Ньюком, выполнив свою миссию и задержавшись в комнате до тех пор, пока не узнала всех новостей, спустилась в кухню, где ее сотоварищ мистер Бритен наслаждался отдыхом после ужина, окруженный столь богатой коллекцией сверкающих сотейников, начищенных до блеска кастрюль, полированных столовых приборов, сияющих котелков и других вещественных доказательств трудолюбия Клеменси, развешенных по стенам и расставленных по полкам, что казалось, будто он сидит в центре зеркально-

го зала. Правда, вся эта утварь в большинстве случаев рисовала не очень лестные портреты мистера Бритена и отражала его отнюдь не единодушно: так, в одних «зеркала» он казался очень длиннолицым, в других – очень широколицым, в некоторых – довольно красивым, в других – чрезвычайно некрасивым, ибо все они отражали один и тот же предмет по-разному, так же как люди по-разному воспринимают одно и то же явление. Но все они сходились в одном – посреди них сидел человек, развалившись в кресле, с трубкой во рту и с кувшином пива под рукой, человек, снисходительно кивнувший Клеменси, когда она уселась за тот же стол.

– Ну, Клемми, – произнес Бритен, – как ты себя чувствуешь и что нового?

Клеменси сообщила ему новость, которую он принял очень благосклонно. Надо сказать, что Бенджамин с головы до ног переменялся к лучшему. Он очень пополнил, очень порозовел, очень оживился и очень повеселел. Казалось, что раньше лицо у него было завязано узлом, а теперь оно развязалось и разгладилось.

– Опять, видно, будет работка для Снич и Крегса, – заметил он, лениво попыхивая трубкой. – А нас с тобой, Клемми, пожалуй, снова заставят быть свидетелями.

– Ах! – отозвалась его прекрасная соседка, излюбленным движением вывертывая свои излюбленные суставы. – Кабы это со мной было, Бритен!

– То есть?..

– Кабы это я выходила замуж, – разъяснила Клеменси.

Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался от всей души.

– Хороша невеста, нечего сказать! – проговорил он. – Бедная Клем!

Клеменси тоже захохотала, и не менее искренне, чем Бритен, – видимо, ее рассмешила самая мысль о том, что она может выйти замуж!

– Да, – согласилась она, – невеста я хорошая, правда?

– Ну, ты-то уж никогда не выйдешь замуж, будь покойна, – сказал мистер Бритен, снова принимаясь за трубку.

– Ты думаешь, так-таки и не выйду? – спросила Клеменси совершенно серьезно.

Мистер Бритен покачал головой.

– Ни малейшего шанса!

– Подумать только! – воскликнула Клеменси. – Ну что ж! А ты, пожалуй, соберешься когда-нибудь жениться, Бритен, правда?

Столь прямой вопрос на столь важную тему требовал размышления. Выпустив огромный клуб дыма, мистер Бритен стал рассматривать его, наклоня голову то вправо, то влево – словно клуб дыма и был вопросом, который предстояло рассмотреть со всех сторон, – и, наконец, ответил, что это ему еще не совсем ясно, но, впрочем... да-а... он полагает, что в конце концов вступит в брак.

– Желаю ей счастья, кто б она ни была! – вскричала Кле-

менси.

– Ну, счастливой она будет, – сказал Бенджамин, – в этом можешь не сомневаться.

– Но она не была бы такой счастливой, – сказала Клеменси, навалившись на стол, и, вся в мыслях о прошлом, уставилась на свечу, – и не получила бы такого общительного мужа, если бы не... (хоть я и не нарочно старалась тебя расшевелить, все вышло само собой, ей-ей), если бы не мои старанья; ведь правда, Бритен?

– Конечно, – ответил мистер Бритен, уже достигший того высокого наслаждения трубкой, когда курильщик, разговаривая, едва в состоянии приоткрывать рот и, недвижно блаженствуя в кресле, способен повернуть в сторону соседа одних лишь глаза, и то очень лениво и бесстрастно. – Да, я тебе, знаешь ли, очень обязан, Клем.

– Приятно слышать! – сказала Клеменси.

В то же время Клеменси сосредоточила и взоры свои и мысли на свечке и, внезапно вспомнив о целебных свойствах свечного сала, щедро вымазала свой левый локоть этим лекарством.

– Я, видишь ли, в свое время производил много исследований разного рода, – продолжал мистер Бритен с глубокомыслием мудреца, – ведь у меня всегда был любознательный склад ума – и я прочел множество книг о добре и зле, ибо на заре жизни сам был прикосновенен к литературе.

– Не может быть! – вскричала Клеменси в восхищении.

– Да, – сказал мистер Бритен, – два года без малого моей обязанностью было сидеть спрятанным за книжным прилавком, чтобы выскочить оттуда, как только кто-нибудь вздумает прикарманить книжку; а после этого я служил посыльным у одной корсетницы-портнихи, и тут меня заставляли разносить в клеенчатых корзинках одно лишь сплошное надувательство; и это ожесточило мою душу и разрушило мою веру в человеческую натуру; а затем я то и дело слышал споры в этом доме, что опять-таки ожесточило мою душу, и вот в конце концов я решил, что самое верное и приятное средство смягчить эту душу, самый надежный руководитель в жизни, это терка для мускатного ореха.

Клеменси хотела было сказать что-то, но он помешал ей, предвосхитив ее мысль.

– В сочетании, – торжественно добавил он, – с наперстком.

– «Цоступай с другими так, как ты хочешь, чтобы...» и прочее, – заметила Клеменси, очень довольная его признанием, и, удовлетворенно сложив руки, похлопала себя по локтям. – Кратко, но ясно, правда?

– Я не уверен, – сказал мистер Бритен, – можно ли считать эти слова настоящей философией. У меня на этот счет сомнение; но если бы все так поступали, на свете было бы куда меньше воркотни, так что от них большая польза, чего от настоящей философии не всегда можно ожидать.

– А помнишь, как ты сам ворчал когда-то! – проговорила

Клеменси.

– Да! – согласился мистер Бритен. – Но самое необыкновенное, Клемми, это то, что я исправился благодаря тебе. Вот что странно. Благодаря тебе! А ведь у тебя, наверно, и мысли-то нет ни одной в голове.

Клеменси, ничуть не обижаясь, покачала этой головой, рассмеялась, крепко сжала себе локти и сказала:

– Пожалуй, и правда, нет.

– В этом сомневаться не приходится, – подтвердил мистер Бритен.

– Ну, конечно, ты прав, – сказала Клеменси. – А я и не говорю, что у меня есть мысли. Да мне они и не нужны.

Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался так, что слезы потекли у него по лицу.

– Какая же ты дурочка, Клемми! – в восторге проговорил он, покачивая головой и вытирая глаза.

Клеменси, отнюдь не собираясь спорить с ним, тоже покачала головой и расхохоталась так же искренне, как и он.

– Но все-таки ты мне нравишься, – сказал мистер Бритен, – ты на свой лад предобрая, поэтому жму твою руку, Клем. Что бы ни случилось, я всегда буду тебя помнить и останусь твоим другом.

– В самом деле? – проговорила Клеменси. – Ну! Это очень мило с твоей стороны.

– Да, да, – сказал мистер Бритен, передавая ей свою трубку, из которой пора было выбить пепел. – Я буду тебя под-

держивать... Хм! Что это за странный шум?

– Шум? – повторила Клеменси.

– Шаги в саду. словно бы кто-то спрыгнул с ограды, – сказал Бритен. – А что, наверху у нас все уже легли спать?

– Да, сейчас все улеглись, – ответила она.

– Так ты больше ничего не слыхала?

– Нет.

Оба прислушались, но ничего не услышали.

– Вот что, – произнес Бритен, снимая фонарь, – пойду-ка я погляжу для спокойствия, пока сам спать не лег. Отопри дверь, Клемми, а я зажгу фонарь.

Клеменси тотчас повиновалась, но, отпирая дверь, твердила, что он прогуляется зря, что все это его выдумки, и тому подобное. Мистер Бритен сказал: «Очень может быть», но тем не менее вооружился кочергой и, выйдя за дверь, стал светить фонарем во все стороны.

– Тихо, как на кладбище, – проговорила Клеменси, глядя ему вслед, – и почти так же жутко!

Потом посмотрела назад, в кухню, и вскрикнула в испуге, потому что взгляд ее упал на чью то стройную фигурку.

– Что такое?

– Тише! – взволнованно прошептала Мэрьон. – Ты всегда любила меня, правда?

– Как же не любить, девочка моя! Конечно любила.

– Я знаю. И я могу тебе довериться, да? (Ведь мне сейчас некому довериться.)

– Можешь, – сказала Клеменси от всего сердца.

– Пришел один человек, – промолвила Мэрьон, указывая на дверь. – Я должна с ним увидеться и поговорить сегодня же. Майкл Уордн, уйдите ради бога! Не сейчас!

Клеменси вздрогнула в тревожном изумлении, – следуя за взглядом Мэрьон, она увидела на пороге темную фигуру.

– Еще мгновение, и вас увидят, – сказала Мэрьон. – Не сейчас! Спрячьтесь где-нибудь и подождите, если можете. Я скоро приду.

Он помахал ей рукой и скрылся.

– Не ложись спать. Подожди меня здесь! – торопливо попросила Мэрьон служанку. – Я целый час искала случая поговорить с тобой. О, не выдавай меня!

Пылко схватив руку ошеломленной Клеменси, Мэрьон обеими руками прижала ее к груди, – жестом страстной мольбы, более выразительным, чем самые красноречивые слова, – и быстро убежала, а в дверях блеснул свет фонаря.

– Все тихо и мирно. Никого нет. Должно быть, мне показалось, – сказал мистер Бритен, запирая дверь и задвигая засовы. – Вот что значит иметь живое воображение! Клем, что с тобой?

Клеменси, не умея скрыть своего изумления и тревоги, бледная сидела в кресле и дрожала всем телом.

– «Что с тобой»! – передразнила она Бритена, нервно потирая руки и локти и стараясь не смотреть на него. – Вот ты какой, Бритен! Сам же напугал меня до смерти всякими

шумами и фонарями и не знаю еще чем, а теперь говоришь «что с тобой»!

– Если ты до смерти испугалась фонаря, Клемми, – сказал мистер Бритен, хладнокровно задувая фонарь и вешая его на прежнее место, – то от этого «привидения» нетрудно избавиться. Но ты как будто не робкого десятка, – добавил он, останавливаясь и внимательно ее разглядывая, – ты не струсилась, когда слышался шум и я зажег фонарь. А теперь что тебе взбрело в голову? Неужто какая-нибудь мысль, а?

Но когда Клеменси почти обычным своим тоном пожелала ему спокойной ночи и начала суетиться, делая вид, что сама собирается немедленно лечь спать, Мало-Бритен процитировал весьма новое и оригинальное изречение на тему о том, что женских причуд не понять, потом в свою очередь пожелал ей спокойной ночи и, взяв свою свечу, уже полусонный отправился на боковую.

Когда все стихло, Мэрьон вернулась.

– Отопри дверь, – сказала она, – и стой рядом со мною, пока я буду говорить с ним.

Казалось, она робеет, но в голосе ее звучала такая твердая и обдуманная решимость, что Клеменси не смогла противиться. Она тихонько отодвинула засовы, но, прежде чем повернуть ключ, оглянулась на девушку, готовую выйти из дому, как только откроется дверь.

Мэрьон не отвернулась и не опустила головы; она смотрела прямо на Клеменси, сияя молодостью и красотой. Кле-

менси в простоте души сознавала, как шатка преграда, стоявшая между счастливым домом, где цвела чистая любовь прелестной девушки, и будущим, что грозило горем этому дому и гибелью его самому дорогому сокровищу; и это так остро поразило ее доброе сердце и так переполнило его скорбью и состраданием, что она бросилась на шею Мэрьон, заливаясь слезами.

– Я мало что знаю, моя милая, – плакала Клеменси, почти ничего! Но я знаю, что этого не должно быть. Подумай, что ты делаешь!

– Я уже много думала, – мягко проговорила Мэрьон.

– Подумай еще раз, – умоляла Клеменси. – Подожди до завтра.

Мэрьон покачала головой.

– Ради мистера Элфреда, – сказала Клеменси с просто-душной серьезностью. – Ведь ты так нежно любила его когда-то!

Мэрьон на мгновение закрыла лицо руками и повторила «когда-то!» таким тоном, словно это слово разрывало ей сердце.

– Позволь мне пойти туда, – упрашивала ее Клеменси. – Я передам ему все что хочешь. Не выходи нынче вечером. Ведь ничего хорошего из этого не получится. Ах, в недобрый час попал мистер Уордн сюда! Подумай о своем добром отце, дорогая... о своей сестре.

– Я думала, – сказала Мэрьон, быстро подняв голову. – Ты

не понимаешь, что я делаю. Не понимаешь. Я должна поговорить с ним. Ты отговариваешь меня как мой лучший, самый верный друг, и я очень тронута, но я должна пойти. Ты проводишь меня, Клеменси, – продолжала она, целуя служанку, – или мне идти одной?

Горюя и недоумевая, Клеменси повернула ключ и открыла дверь. А Мэрьон, держа ее за руку, ушла в простирившуюся за порогом темную непогожую ночь.

В темноте ночи Майкл встретился с Мэрьон, и они беседовали серьезно и долго, и рука, так крепко уцепившаяся за руку Клеменси, то дрожала, то мертвенно холодела, то сжимала пальцы спутницы, бессознательно подчеркивая бурные чувства, вызванные этой беседой. Когда они возвращались домой, он проводил девушку до дверей и, остановившись на мгновение, схватил ее другую руку и прижал ее к губам. Потом тихо скрылся.

Дверь снова заперта, засовы задвинуты, и вот Мэрьон опять под отчим кровом. Совсем еще юная, она, однако, не согнулась под бременем тайны, которую принесла сюда, и на лице ее отражалось чувство, которому я не нашел названия, а глаза сияли сквозь слезы.

Она вновь и вновь благодарила свою скромную подругу, повторяя, что всецело полагается на нее. Вернувшись в свою комнату, она упала на колени и, несмотря на тайну, тяготившую ее сердце, смогла молиться!

Спокойная и ясная, смогла встать после молитвы и, скло-

нившись над спящей любимой сестрой, смотреть на ее лицо и улыбаться – печальной улыбкой, – целуя ее в лоб и шепча, что Грейс всегда была матерью для нее и что она, Мэрьон, любит ее, как дочь.

Смогла, отходя ко сну, обвить рукой спящей сестры свою шею (казалось, что рука Грейс сама обняла ее – нежная и заботливая даже во сне) и прошептала полураскрытыми губами:

– Благослови ее бог!

Смогла и сама погрузиться в мирный сон. И лишь в одном сновидении Мэрьон пролепетала невинно и трогательно, что она совсем одна и все близкие забыли ее.

Месяц проходит быстро, даже когда время идет самым медлительным своим шагом. Тот месяц, что должен был пройти между этой ночью и возвращением Элфреда, был скороходом и пронесся как облачко.

И вот настал долгожданный день. Непогожий зимний день, с ветром, который временами с такой силой обрушивался на старый дом, что тот, казалось, вздрагивал от его порывов. В такой день родной дом кажется родным вдвойне. В такой день уголок у камина кажется особенно уютным. Отблески пламени тогда ярче алеют на лицах людей, собравшихся у огонька, и любой подобный кружок спланивается в еще более дружный и тесный союз против разъяренных сти-

хий за стенами. В такой ненастный зимний день хочется по-лучше завесить окна, чтобы мрак ночи не заглянул в комна-ты; хочется радоваться жизни; хочется музыки, смеха, тан-цев, света и веселья!

Все это доктор припас в изобилии, чтобы отпраздновать возвращение Элфреда. Было известно, что Элфред приедет поздно вечером, и «когда он подъедет, – говорил доктор, – воздух ночной и тот у нас зазвенит. Все старые друзья собе-рутся встретить его. Ему не придется тщетно искать глазами тех, кого он знал и любил! Нет! Все они будут здесь!»

Итак, пригласили гостей, наняли музыкантов, накрыли столы, натерли пол для танцев и щедро приготовились встре-тить гостя как можно радушнее. Дело было на святках, а гла-за Элфреда, наверное, отвыкли от яркой зелени английско-го остролиста, поэтому в зале развесили гирлянды этого рас-тения, и его красные ягоды поблескивали, выглядывая из-под листвы и словно готовясь приветствовать Элфреда на ан-глийский лад.

Это был хлопотливый день для всех домашних и особен-но хлопотливый для Грейс, которая весело и несуетливо ру-ководила окружающими и была душой всех приготовлений. Не раз в этот день (да не раз и в течение всего быстро про-мелькнувшего месяца) Клеменси смотрела на Мэрьон с тре-вогой, почти со страхом. Девушка была, пожалуй, бледнее обычного, но лицо ее дышало кротким спокойствием, кра-сившим ее еще больше.

Вечером, когда она уже переоделась и волосы ее украсил венок, которым Грейс с гордостью обвила ее головку (искусственные цветы, составлявшие его, были любимыми цветами Элфреда и это Грейс выбирала их), лицо ее приняло прежнее выражение, задумчивое, почти печальное, но еще более вдохновенное, возвышенное и волнующее, чем раньше.

– Скоро я опять надену венок на эту прелестную головку, но он уже будет свадебным венком, – сказала Грейс. – Если нет, значит я плохой пророк, дорогая.

Сестра улыбнулась и обняла ее.

– Еще минутку, Грейс. Не уходи. Ты уверена, что ничего больше не нужно прибавить к моему наряду?

Не об этом она заботилась. Она не могла наглядеться на сестру, и глаза ее были с нежностью устремлены на лицо Грейс.

– Как я ни старайся, – ответила Грейс, – ничем я тебя украсить не смогу: милая моя девочка, ты сейчас так хороша, что краше быть невозможно. Никогда я не видела тебя такой красивой, как сейчас.

– Я никогда не была такой счастливой, – отозвалась Мэрьон.

– Да, но тебя ждет еще большее счастье. В другом доме, таком же веселом и светлом, как наш сегодня, – сказала Грейс, – скоро поселятся Эдфред и его молодая жена.

Мэрьон опять улыбнулась.

– Ты думаешь, Грейс, что в этом доме воцарится счастье. Я вижу это по твоим глазам. Да, милая, я знаю, что счастье там будет. Как радостно мне сознавать это!

Ну, – вскричал доктор, вбегая в комнату, – мы уже приготовились встретить Элфреда, а? Он придет очень поздно, часов в одиннадцать ночи, поэтому у нас хватит времени раскаться. Он увидит нас, когда веселье будет уже в разгаре. Подкиньте сюда дров, Бритен! Пусть остролист снова заблестит при свете лампы. Жизнь – это сплошная глупость, кошечка; верные влюбленные и прочее – все это глупости, но мы будем глупыми, как все, и примем нашего верного влюбленного с распростертыми объятиями. Честное слово, – проговорил доктор, с гордостью глядя на своих дочерей, – нынче вечером я плохо разбираюсь во всяких нелепостях, но мне ясно одно: я отец двух красивых девушек.

– Если одна из них когда-нибудь сделала или сделает... сделает тебе больно, дорогой отец, если она огорчит тебя, ты прости ее, – сказала Мэрьон, – прости ее теперь, когда сердце ее переполнено. Скажи, что прощаешь ее. Что простишь ее. Что всегда будешь любить ее и... – Прочее осталось невысказанным, и Мэрьон прижалась лицом к плечу старика.

– Полно, полно, – мягко проговорил доктор, – ты говоришь – прости! А что мне прощать? Ну уж, знаете, если наши верные влюбленные возвращаются, чтобы так нас расстраивать, мы должны удерживать их на почтительном расстоянии; мы должны посылать им навстречу курьеров, чтобы те

останавливали их на дороге – пусть плетутся мили по две в день, пока мы не будем совсем готовы их встретить. Поцелуй меня, кошечка. Простить! Какая же ты глупенькая девочка! Да если бы ты досаждала и дерзила мне хоть по сто раз на день, – чего ты не делала, – я простил бы тебе все это, кроме такой просьбы. Поцелуй меня еще раз, кошечка. Вот так! Мы уже сосчитались и за прошлое и за будущее. Подбавьте сюда дров! Или вы хотите заморозить гостей в такую студеную декабрьскую ночь! Пусть у нас будет тепло, светло и весело, иначе я не прощу кое-кому из вас!

Вот как оживился старый доктор! И в огонь подбросили дров, и свет в комнатах горел ярко, и приехали гости, и поднялся оживленный говор, и по всему дому уже повеяло духом радости и веселья.

Все больше и больше гостей входило в дом. Блестящие глазки, сияя, смотрели на Мэрьон; улыбающиеся губы поздравляли ее с возвращением Элфреда; степенные матери обмахивались веерами и выражали надежду, что она окажется не слишком ребячливой и ветреной для тихой семейной жизни; восторженные отцы впадали в немилость за то, что слишком пылко восхищались ее красотой; дочери завидовали ей; сыновья завидовали жениху; бесчисленные влюбленные парочки пользовались удобным случаем пошептаться; все были заинтересованы, оживлены и ждали события.

Мистер и миссис Крегс вошли под руку, а миссис Снич пришла одна.

– Как, вы одна? А где же ваш супруг? – спросил доктор.

Перо райской птицы на тюрбане миссис Сниччи так затрепетало, как будто сама эта райская птица ожила, и миссис Сниччи ответила, что мистер Крегс, без сомнения, знает, где ее супруг. А вот ей никогда ни о чем не говорят.

– Противная контора! – промолвила миссис Крегс.

– Хоть бы она сторела дотла! – сказала миссис Сниччи.

– Мистер Сниччи... он... одно небольшое дело задерживает моего компаньона, и придет он довольно поздно, – проговорил мистер Крегс, беспокойно оглядываясь кругом.

– А-ах, дело! Ну, конечно! – произнесла миссис Сниччи.

– Знаем мы, какие у вас дела! – сказала миссис Крегс.

Но они не знали, какие это были дела, и может быть, именно потому перо райской птицы на тюрбане миссис Сниччи трепетало так взволнованно, а все висюльки на серьгах миссис Крегс звенели, как колокольчики.

– Удивляюсь, как это вы смогли отлучиться, мистер Крегс, – сказала его жена.

– Мистеру Крегсу безусловно повезло! – заметила миссис Сниччи.

– Эта контора прямо-таки поглощает их целиком, – промолвила миссис Крегс.

– Мужчина, имеющий контору, не должен жениться, – изрекла миссис Сниччи.

Затем миссис Сниччи решила, что ее взгляд проник в самую душу Крегса, и Крегс сознает это, а миссис Крегс за-

метила, обращаясь к Крегсу, что «его Сниччи» втирают ему очки у него за спиной и он сам убедится в этом, да поздно будет.

Впрочем, мистер Крегс не обращал большого внимания на все эти разговоры, но беспокойно озирался по сторонам, пока глаза его не остановились на Грейс. Он сейчас же подошел к ней.

– Добрый вечер, сударыня, – сказал Крегс. – Как вы хороши сегодня! Ваша... мисс... ваша сестра, мисс Мэрьон, как она...

– Благодарю вас, она чувствует себя прекрасно, мистер Крегс.

– Она... Я... Она здесь? – спросил мистер Крегс.

– Конечно здесь! Разве вы не видите? Вон она! Сейчас пойдет танцевать, – ответила Грейс.

Мистер Крегс надел очки, чтобы в этом удостовериться; некоторое время смотрел на Мэрьон; потом кашлянул и, наконец, с облегчением сунул очки в футляр, а футляр – в карман.

Но вот заиграла музыка и начались танцы. Яркие горящие дрова потрескивали и рассыпали искры, а пламя вскидывалось и опадало, словно тоже решив пуститься в пляс за компанию. Порой оно гудело, как бы вторя музыке. Порой вспыхивало и сверкало, словно око этой старинной комнаты; а порой подмигивало, как лукавый старец, молодежи, шептавшейся в уголках. Порой заигрывало с ветками остролиста, и

когда оно, вздрагивая и взлетая, бросало на них мерцающие отблески, казалось, что листья вернулись в холодную зимнюю ночь и трепещут на ветру. Порой веселье пламени превращалось в буйство и переходило все границы: и тогда оно с громким треском внезапно выкидывало в комнату, к мелькающим ногам танцоров, целый сноп безобидных искорок и прыгало и скакало, как безумное, в широком старом камине.

Второй танец уже подходил к концу, когда мистер Снич дотронулся до плеча своего компаньона, смотревшего на танцующих.

Мистер Крегс вздрогнул, словно это был не приятель его, а призрак.

– Он уехал? – спросил мистер Крегс.

– Тише! Он просидел со мною три часа с лишком, – ответил Снич. – Он входил во все. Проверял все, что мы для него сделали, и очень придирался. Он... хм!

Танец кончился. Мэрьон прошла мимо мистера Снич, как раз когда он произнес последние слова. Но она не заметила ни его, ни его компаньона; медленно пробираясь в толпе, она оглянулась через плечо на сестру, стоявшую в отдалении; затем скрылась из виду.

– Вот видите! Все обошлось благополучно, – сказал мистер Крегс. – Он, вероятно, не говорил на эту тему?

– Ни слова.

– И он действительно уехал? Убрался подальше от греха?

– Да, свое обещание он сдержал. Сегодня он решил

сплыть вниз по Темзе во время отлива в своей лодчонке-скорлупке и выбраться к морю с попутным ветром – в такую-то темень, вот смельчак! Но зато он не рискует ни с кем встретиться. Отлив начинается за час до полуночи... а значит, он вот-вот начнется. Как я рад, что все это благополучно кончилось! – Мистер Сниччи вытер потный, нахмуренный лоб.

– Что вы думаете, – спросил мистер Крегс, – относительно...

– Тише! – перебил его осторожный компаньон, глядя прямо перед собой. – Я вас понимаю. Не упоминайте имен и не подавайте виду, что мы говорим о чем-то секретном. Не знаю, что подумать, да сказать правду, и не интересуюсь этим теперь. У меня отлегло от сердца. Очевидно, его ослепило самомнение. Должно быть, девушка слегка кокетничала с ним, и только. Похоже на то. Элфред еще не приехал?

– Нет еще, – сказал мистер Крегс, – его ждут с минуты на минуту.

– Отлично, – мистер Сниччи снова вытер лоб. – У меня отлегло от сердца. Ни разу я так не нервничал, с тех пор как мы стали компаньонами. А теперь я собираюсь приятно провести вечерок, мистер Крегс.

Миссис Крегс и миссис Сниччи подошли к ним, как только он высказал это намерение. Райская птица отчаянно трепетала, а звон «колокольчиков» был отчетливо слышен.

– Ваше отсутствие было предметом всеобщего обсужде-

ния, мистер Снич, – сказала миссис Снич. – Надеюсь, контора удовлетворена.

– Чем удовлетворена, душенька? – спросил мистер Снич.

– Тем, что поставила беззащитную женщину в смешное положение – ведь люди прохаживались на мой счет, – ответила его супруга. – Это совершенно в духе конторы, совершенно!

– А вот я лично, – промолвила миссис Крегс, – давно привыкла к тому, что контора во всех отношениях противодействует семейной жизни, и хорошо хоть, что она иногда открыто объявляет себя врагом моего спокойствия. Это по крайней мере честно.

– Душенька, – попытался умаслить ее мистер Крегс, – приятно слышать ваше доброе мнение, но ведь я-то никогда не утверждал, что контора – враг вашего спокойствия.

– Еще бы! – подхватила миссис Крегс, поднимая настоящий трезвон своими «колокольчиками». – Сами вы этого, конечно, не утверждали. Если бы у вас на это хватило искренности, вы не были бы достойны своей конторы.

– Что касается моего опоздания сегодня вечером, душенька, – сказал мистер Снич, предлагая руку жене, – то сам я скорблю об этом больше других, но, как известно мистеру Крегсу...

Тут миссис Снич резко оборвала эту фразу, оттащив своего супруга в сторону и попросив его взглянуть на «этого человека». Пусть сделает ей удовольствие и посмотрит на него!

– На какого человека, душенька? – спросил мистер Спичи.

– На вашего задушевного друга; ведь я-то вам не друг, мистер Спичи.

– Нет, нет, вы мне друг, душенька, – заспорил мистер Спичи.

– Нет, нет, не друг, – упиралась миссис Спичи, величественно улыбаясь. – Я знаю свое место. Так вот, не хотите ли взглянуть на своего задушевного друга, мистер Спичи, на вашего советчика, на хранителя ваших тайн, на ваше доверенное лицо, словом, на ваше второе «я»?

Привыкнув объединять себя с Крегсом, мистер Спичи посмотрел в его сторону.

– Если вы нынче вечером можете смотреть в глаза этому человеку, – сказала миссис Спичи, – и не понимать, что вы обмануты, одурачены, пали жертвой его козней и рабски подчинены его воле в силу какого-то непостижимого наваждения, которое невозможно объяснить и нельзя рассеять никакими моими предостережениями, то я могу сказать одно – мне жаль вас!

В то же самое время миссис Крегс разглагольствовала на ту же тему, но с противоположной точки зрения. Неужели, допытывалась она, Крегс так ослеплен своими Спичи, что перестал понимать, в какое положение он попал? Будет ли он утверждать, что видел, как «Спичи вошли» в эту комнату, но не распознал в «этом человеке» скрытности, хитрости, предательства? Будет ли он уверять ее, что самые движения

«этого человека», когда он вытирал себе лоб и так воровато озирался по сторонам, не доказывают, что какое-то темное дело обременяет совесть его драгоценных Сниччи (если у них есть совесть)? Разве кто-нибудь, кроме его Сниччи, врывается на вечеринку, как разбойник? (Что, кстати сказать, было едва ли правильным описанием данного случая, ибо мистер Сниччи очень скромно вошел в дверь.) И будет ли он упрямо доказывать ей среди бела дня (было около полуночи), что его Сниччи должны быть оправданы, несмотря ни на что, наперекор всем фактам, разуму и опыту?

Ни Сниччи, ни Крегс явно не пытались запрудить этот разлившийся поток, но позволили ему увлекать их по течению, пока стремительность его не ослабела. Это случилось как раз в то время, когда все стали готовиться к контрдансу, и тут мистер Сниччи предложил себя в качестве кавалера миссис Крегс, а мистер Крегс галантно пригласил миссис Сниччи, и после нескольких притворных отговорок, как, например: «Почему бы вам не пригласить какую-нибудь другую даму», или: «Знаю я вас, вы обрадуетесь, если я вам откажу», или: «Удивляюсь, что вы можете танцевать где-нибудь, кроме конторы» (но это уже было сказано игривым тоном), обе дамы милостиво приняли приглашение и заняли свои места.

У них давно вошло в обычай и танцевать друг с другом и сидеть рядом в таком же порядке на званых обедах и ужинах, – ведь эти супружеские пары были связаны долголетней тесной дружбой. Быть может, «двуличный Крегс» и «ковар-

ный Сниччи» были для обеих жен такими же традиционными фикциями, какими были для их мужей Доу и Роу⁵, непрерывно перебежавшие из одного судебного округа в другой; а может быть, каждая из этих дам, стараясь очернить компаньона своего мужа, тем самым пыталась принять долю участия в работе конторы, чтобы не остаться совсем в стороне от нее. Так или иначе, и та и другая жена столь же серьезно и упорно предавались своему любимому занятию, как их мужья, – своему, и не допускали, что контора может преуспевать без их похвальных усилий.

Но вот райская птица запорхала в самой гуще танцующих; «колокольчики» принялись подскакивать и подванивать; румяное лицо доктора завертелось по всей комнате, как хорошо отполированный волчок; мистер Крегс, запыхавшись, начал уже сомневаться в том, что контрданс, как и все на свете, «слишком упростили», а мистер Сниччи прыгал и скакал, лихо отплясывая «за себя и за Крегса» да еще за полдюжины танцоров.

Но вот и огонь в камине, приободрившись, благодаря свежему ветерку, поднятому танцующими, запылал еще ярче и взвился еще выше. Он был гением этой комнаты и проникал всюду. Он сиял в людских глазах, он сверкал в драгоценностях на белоснежных шейках девушек, он поблескивал на их

⁵ Доу и Роу. – Вплоть до середины XIX века вымышленные имена Джон Доу и Ричард Роу употреблялись в английском судопроизводстве для обозначения любого истца и ответчика.

сережках, как бы лукаво шепча им что-то на ушко, он вспыхивал у них на груди, он мерцал на полу, расстилая им под ноги ковер из розового света, он расцветал на потолке, чтобы отблеском своим оттенить красоту их прелестных лиц, и он зажег целую иллюминацию на маленькой звоннице миссис Крегс.

Вот и свежий ветерок, раздувавший огонь, стал крепчать, по мере того как музыканты ускоряли темп, и танец продолжался с новым воодушевлением, а вскоре поднялся настоящий вихрь, от которого листья и ягоды остролиста заплясали на стене, как они зачастую плясали на дереве, и вихрь этот зашуршал по комнате, мчась по пятам за плясунами из плоти и крови, и чудилось, будто невидимая стайка фей завертелась позади них. И уже нельзя было разглядеть лицо доктора, все кружившего и кружившего по комнате; и уже казалось, что не одна, а добрый десяток райских птиц мечется в порывистом полете и что звенит целая тысяча колокольчиков; и вот, наконец, всю флотилию развевающихся юбок внезапно смело точно бурей, ибо оркестр умолк и танец кончился.

Как ни запыхался, как ни разгорячен был доктор, он все нетерпеливее ждал приезда Элфреда.

– Не видно ли чего, Бритен? Не слышно ли чего?

– Очень уж темно, далеко не видать, сэр. Очень уж шумно в доме – ничего не услышишь.

– Это верно! Тем веселее мы его встретим. Который час?

– Ровно двенадцать, сэр. Вот-вот подъедет, сэр.

– Помешайте огонь в камине и подбросьте туда еще поле-
но, – сказал доктор. – Пусть он увидит, – наш дорогой маль-
чик! – какой иллюминацией мы его встречаем.

И он увидел это. Да! Он заметил свет, когда фаэтон еще
только заворачивал за угол у старой церкви. Он узнал ком-
нату, где горел огонь. Он увидел оголенные ветви старых де-
реьев, озаренных светом из окон. Он знал, что летом одно
из этих деревьев мелодично шелестит под окном Мэрьон.

Слезы выступили у него на глазах. Сердце его билось так
буйно, что он едва мог вынести свое счастье. Как часто думал
он об этой минуте... как ярко представлял ее себе, где бы ни
находился сам... как боялся, что она ни когда не наступит...
как страстно желал ее и тосковал о ней... там, далеко!

Снова свет! Яркий, рдеющий; зажженный, конечно, для
того, чтобы приветствовать его и помочь ему скорее добрать-
ся домой. Он поднял руку и замахал шляпой и громко крик-
нул, словно этот свет олицетворял его близких и они могли
видеть и слышать его в то время, как он, торжествуя, мчался
к ним по грязи и слякоти.

– Стой! – Он знал доктора и догадался обо всем. Доктор не
захотел сделать сюрприз своим домашним. Но он, Элфред,
все-таки сделает им сюрприз: он пойдет пешком. Если ка-
литка в сад открыта, он пройдет через нее, если нет – пере-
лезть через садовую ограду легко, это он давно знает. И то-
гда он мгновенно очутится среди своих.

Он вышел из экипажа и приказал кучеру (с трудом выго-

варивая слова, – так он был взволнован) постоять несколько минут, а потом ехать шагом, а сам побежал вперед, все убыстряя бег, подергал запертую калитку, перелез через ограду, прыгнул на землю и остановился, тяжело дыша, в старом плодовом саду.

Деревья были опущены инеем, и при слабом свете луны, окутанной облаками, маленькие ветки казались увядшими гирляндами. Сухие листья потрескивали и шуршали под ногами Элфреда, когда он тихо пробирался к дому. Печаль зимней ночи охватила и землю и небо. Но алый свет весело сиял из окон навстречу путнику, тени людей мелькали в них, а говор и гул голосов сладостно приветствовали его слух.

Пробираясь вперед, он прислушивался, не прозвучит ли ее голос, пытаясь выделить его среди других голосов, и готов был поверить, что расслышал его; он уже подбежал к входной двери, как вдруг она распахнулась, и какая-то женщина, выбегая, столкнулась с ним.

Она мгновенно отпрянула назад, тихо охнув.

– Клеменси! – воскликнул он. – Неужели вы меня не узнаете?

– Не входите! – ответила она, отталкивая его. – Уйдите! Не спрашивайте меня почему. Не входите!

– Что случилось? – вскрикнул он.

– Не знаю... Я... я боюсь подумать. Уйдите! Ах! В доме внезапно поднялся шум. Клеменси закрыла уши руками. Раздался громкий крик, – такой крик, что не услышать его

было нельзя, и Грейс, как безумная, выскочила за дверь.

– Грейс! – Элфред обнял ее. – Что случилось? Она умерла?

Девушка высвободилась и, отстранившись, словно для того, чтобы рассмотреть его лицо, упала к его ногам.

Вокруг них столпились люди, выбежавшие из дома. Среди них был ее отец; в руках он держал исписанный листок бумаги.

Что случилось? – вскричал Элфред и, схватившись за голову, опустился на одно колено рядом с бесчувственной девушкой, в отчаянии перебегая глазами от лица к лицу. – Почему вы на меня не смотрите? Почему молчите? Разве вы меня не узнаете? Или вы все потеряли голос, что не можете сказать мне, что случилось? Среди толпы поднялся говор:

– Она ушла.

– Ушла! – повторил он.

– Убежала, мой милый Элфред! – произнес доктор срывающимся голосом и закрыл лицо руками. – Ушла из родного дома, покинула нас. Сегодня вечером! Она пишет, что сделала выбор, но ни в чем дурном не виновна... умоляет нас простить ее... надеется, что мы никогда ее не забудем... и вот... ушла.

– С кем? Куда?

Элфред вскочил, словно готовый броситься за нею в погоню, но когда люди расступились, чтобы дать ему дорогу, окинул их безумным взглядом, шатаясь, отпрянул назад и, снова

опустившись на колени, сжал похолодевшую руку Грейс.

А люди засуетились, забегали туда-сюда, поднялся шум, началась суматоха, но все без толку. Одни гости разбрелись по дорогам, другие умчались на лошадях, третьи схватили факелы, четвертые стали переговариваться между собой, утверждая, что следов не найти и поиски бесполезны. Некоторые ласково заговаривали с Элфредом, стараясь утешить его; другие убеждали его, что Грейс нужно перенести в комнату, а он мешает этому. Он не слышал их и не трогался с места.

Снег валил все гуще. Элфред на мгновение поднял голову и ему почудилось, что это – белый пепел, сыплющийся на его надежды и страдания. Он окинул взглядом побелевшую землю и подумал, что следы ног Мэрьон, едва возникнув, будут стерты, заметены снегом, и даже эта память о ней скоро исчезнет. Но он не ощущал холода и не шевелился.

Часть третья

С той ночи, как вернулся Элфред, мир постарел на шесть лет. Теплый осенний день склонялся к закату, только что прошел сильный ливень. Солнце внезапно выглянуло в прорыв между тучами, и древнее поле битвы, ослепительно и весело сверкнув ему навстречу одной из своих зеленых площадок, просияло ответным приветствием, разлившимся по всей округе, как будто вспыхнул вдруг радостный огонь маяка и ему ответили сотни других огней.

Как хороши были эти просторы, пылающие в солнечном свете, как чудесно было это роскошное пламя, словно вестник неба, озарившее все вокруг! Лес, дотоле казавшийся темной массой, открылся во всем разнообразии своих красок – желтой, зеленой, коричневой, красной – и своих деревьев с дождевыми каплями, сверкающими на листьях и искрящимися при падении. Пламенеющий яркой зеленью луг еще минуту назад казался слепым, а сейчас вновь обрел зрение и смотрел вверх, на ясное небо. Нивы, живые изгороди, заборы, усадьбы, скученные крыши, церковная колокольня, речка, водяная мельница – все, улыбаясь, выступило из хмурой мглы. Пгички нежно щебетали, цветы поднимали свои поникшие головки, свежие ароматы исходили от обновленной земли; голубое пространство вверху ширилось и растекалось, и вот уже косые лучи солнца насмерть пронзили хму-

рую гряду облаков, замешкавшуюся в бегстве, и радуга, душа всех красок, украшающих землю и небо, широко раскинула свою величественную триумфальную арку.

В этот час маленькая придорожная гостиница, уютно приутившаяся под огромным вязом, чей мощный ствол был окружен удобной скамьей для отдыхающих, особенно приветливо – как и подобает общественному зданию, – обращала свой фасад к путешественнику, соблазняя его многими немymi, но выразительными обещаниями радушного приема. Высоко на дереве ярко-красная вывеска с золотыми буквами, сиявшими на солнце, игриво поглядывала на прохожего из-за зеленых веток, словно жизнерадостное личико, и сулила ему хорошее угощение. Колода, полная чистой, свежей воды, и земля под нею, усеянная клочками душистого сена, манили каждую проходившую здесь лошадь, и та настораживала уши. Малиновые шторы на окнах нижних комнат и чистые белые занавески на окнах маленьких спален во втором этаже с каждым дуновением ветерка, казалось, призывно кивали: «Войдите!» На ярко-зеленых ставнях надписи, начертанные золотом, повествовали о пиве и эле, о добрых винах и мягких постелях, и там же красовалось выразительное изображение коричневого кувшина с пеной, бьющей через край. На подоконниках стояли цветущие растения в ярко-красных горшках, красиво подчеркивавших белизну стен, а сумрак за входной дверью пестрили блики света, отраженного блестящей поверхностью бутылок и оловянных пивных кружек.

На пороге стоял сам хозяин гостиницы, который был под стать своему заведению: хоть и невысокий ростом, он был толст и широк в плечах, а стоял, заложив руки в карманы и слегка расставив ноги, – словом, всем своим видом выражая полное удовлетворение состоянием своего винного погреба и непоколебимую уверенность (слишком спокойную и твердую, чтобы стать чванством) во всех прочих достоинствах своей гостиницы. Изобильная влага, проступавшая всюду после недавнего дождя, была ему очень по душе. Ведь ничто вокруг сейчас не испытывало жажды. Несколько тяжелоголовых георгин, глядевших через забор опрятного, хорошо расчищенного сада, поглотили столько жидкости, сколько могли вместить, – пожалуй, даже немного больше, – и выпивка подействовала на них довольно скверно; зато шиповник, розы, желтофиоль, цветы на окнах и листья на старом вязе сияли, как воздержанные собутыльники, которые выпили не больше, чем это было для них полезно, отчего лучшие их качества засияли еще ярче. Осыпая вокруг себя землю росистыми каплями, они как бы щедро расточали невинное искрометное веселье, украшавшее все вокруг, и увлажняли даже те забытые уголки, куда и сильный дождь проникает лишь редко, но никому этим не вредили.

Когда эта сельская гостиница начала свое существование, ее снабдили необычной вывеской. Ей дали название «Мускатная терка». А под этими словами, заимствованными из домашнего обихода, на той же рдеющей доске высоко на де-

реве и такими же золотыми буквами было написано: «Бенджамин Бритен».

Взглянув еще раз на человека, стоявшего в дверях, и прищурившись внимательнее к его лицу, вы, наверно, угадали бы, что это не кто иной, как сам Бенджамин Бритен, естественно изменившийся с течением времени, но – к лучшему, и поистине приятный хозяин гостиницы.

– Миссис Бритен что-то запоздала, – сказал мистер Бритен, глядя на дорогу. – Пора бы и чай пить.

Но никакой миссис Бритен не появлялось, поэтому он не спеша вышел на дорогу и с величайшим удовлетворением устремил взор на свой дом.

– В такой вот гостинице, – молвил Бенджамин, – я хотел бы останавливаться, если бы не сам держал ее.

Потом он направился к садовой ограде и осмотрел георгины. Они в свою очередь смотрели на него, беспомощно и осовело повесив головы и подрагивая, когда с них падали тяжелые капли влаги.

– За вами придется поухаживать, – сказал Бенджамин. – Не забыть сказать ей об этом. Долго же она не едет!

Прекрасная половина мистера Бритена, очевидно, была наиболее прекрасной из его половин, ибо другая его половина – он сам – чувствовала себя совершенно заброшенной и беспомощной без первой.

– У нее как будто не так уж много дела, – сказал Бен. – Правда, после рынка ей надо было похлопотать кое о чем, но

на это много времени не уйдет. А, вот она наконец!

И правда, на дороге, стуча колесами, показалась повозка, в которой на козлах торчал мальчик, заменявший кучера, а на сиденье со спинкой, заваленная множеством корзин и свертков, с огромным зонтом за плечами, промокшим насквозь и раскрытым для просушки, восседала полная женщина средних лет, сложив обнаженные до локтей руки на корзине, стоявшей у нее на коленях, – женщина, чье веселое, добродушное лицо, дышащее довольством, и неуклюжая фигура, качавшаяся из стороны в сторону в лад с толчками повозки, даже на расстоянии пробуждали какие-то давние воспоминания. Этот исходивший от нее аромат былых дней не ослабел и тогда, когда она приблизилась; а как только лошадь остановилась перед «Мускатной теркой», пара обутых в башмаки ног высунулась из повозки и, ловко проскользнув между протянутыми руками мистера Бритена, тяжело опустилась на дорожку, причем башмаки эти не могли принадлежать никому, кроме Клеменси Ньюком.

Они и, правда, принадлежали ей, и она стояла в них, в этих башмаках, румяная и довольная, а лицо ее было промыто до такого же яркого блеска, как и в минувшие времена, но локти стали совсем гладкими – теперь на них даже виднелись ямочки, говорившие о том, как расцвела ее жизнь.

– Как ты поздно, Клеменси! – сказал мистер Бритен.

– Да видишь ли, Бен, у меня была куча дел! – ответила она, заботливо следя за тем, чтобы все ее свертки и корзины

ки были благополучно перенесены в дом. – Восемь, девять, десять... где же одиннадцатая? Ах, моя корзинка – одиннадцатая! Все на месте! Убери лошадь, Гарри, и если она опять будет кашлять, дай ей вечером горячего поила из отрубей. Восемь, девять, десять... Где же одиннадцатая? Ах, я забыла, все на месте! Как дети, Бен?

– Резвятся, Клемми, резвятся.

– Дай им бог здоровья, деточкам нашим! – сказала миссис Бритен, снимая шляпу, обрамлявшую ее круглое лицо (супруги уже перешли в буфетную), и приглаживая ладонями волосы. – Ну, поцелуй же меня, старина!

Мистер Бритен с готовностью повиновался.

– Кажется, я сделала все, что нужно, – промолвила миссис Бритен, роясь в карманах и вытаскивая наружу целую кипу тонких книжек и смятых бумажек с загнутыми уголками. – По всем счетам заплатила... Брюкву продала, счет пивовара проверила и погасила... трубки для курильщиков заказала, семнадцать фунтов четыре шиллинга внесла в банк. А насчет платы доктору Хитфилду за то, что он принимал у меня маленькую Клем, ты, конечно, догадываешься, Бен, – он опять не хочет брать денег.

– Так я и думал, – проговорил Бен.

– Да. Он говорит, что сколько бы у нас ни было детей, Бен, он никогда не возьмет с нас ни полпенни. Даже если их десятка два народится.

Лицо у мистера Бритена стало серьезным, и он уставился

на стену.

– Ну разве это не любезно с его стороны? – сказала Клеменси.

– Очень, – согласился мистер Бритен. – Но к подобной любезности я не стал бы прибегать слишком часто.

– Конечно, – отозвалась Клеменси. – Конечно, нет. А еще пони... продала его за восемь фунтов и два шиллинга. Недурно, а?

– Очень хорошо, – сказал Бен.

– Ну, я рада, что ты доволен! – воскликнула его жена. – Так я и думала, и, пожалуй, это все, а значит, кончаю письмо и остаюсь известная вам К. Бритен... Ха-ха-ха! Вот! Забери все бумаги и спрячь их под замок. Ах! Подожди минутку! Надо наклеить на стену вот это печатное объявление. Оно еще совсем сырое, только что из типографии. Как приятно пахнет!

– Насчет чего это? – спросил Бен, рассматривая объявление.

– Не знаю, – ответила ему жена, – я не читала.

– «Продается с торгов... – начал читать хозяин „Мускатной терки“, – ...если окажется непроданным до назначенного срока...»

– Так всегда пишут, – сказала Клеменси.

– Да, но не всегда пишут вот что, – отозвался он. – Слушай-ка: «Жилой дом» и проч., «службы» и проч., «ягодники» и проч., «ограда» и проч., «господа Снич и Крегс»

и проч., «красивейшая часть незаложенного собственного имени Майкла Уордна, эсквайра, намеревающегося продлить свое пребывание за границей».

– Намеревающегося продлить свое пребывание за границей! – повторила Клеменси.

– Так тут написано, – проговорил Бритен. – Видишь?

– А я еще сегодня слышала, как в старом доме прошел слушок, будто вскоре от нее должны прийти вести – и более радостные и более подробные, чем раньше! – сказала Клеменси, горестно качая головой и похлопывая себя по локтям, должно быть потому, что воспоминания о прежней жизни пробудили в ней старые привычки. – Ай-ай-ай! Тяжело у них будет на сердце, Бен!

Мистер Бритен испустил вздох, покачал головой и сказал, что ничего в этом не понимает и давным-давно уже не пытается понять. Сделав это замечание, он принялся наклеивать объявление на окно с внутренней стороны. Клеменси после недолгих безмолвных размышлений поднялась, разгладила морщины на своем озабоченном челе и убежала взглянуть на детей.

Надо признать, что хозяин «Мускатной терки» питал глубокое уважение к своей супруге, но он по-прежнему относился к ней снисходительно, и Клеменси чрезвычайно забавляла своего мужа. Он очень удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что ведь это она ведет все хозяйство и своей неуклонной бережливостью, прямоотой, добродушием, честностью и

трудолюбием сделала его зажиточным человеком. Такие деятельные натуры никогда не говорят о своих заслугах, и очень часто видишь (на всех ступенях общественной лестницы), как их оценивают по их же собственной скромной мерке, в то же время неразумно восхищаясь поверхностным своеобразием и оригинальностью тех людей, чья внутренняя ценность так невысока, что если бы мы поглубже заглянули к ним в душу, то покраснели бы за то, что приравнивали их к первым!

Мистеру Бритену было приятно думать о том, как он снизошел до Клеменси, женившись на ней. Она служила ему вечным доказательством доброты его сердца и кротости его характера, и если оказалась отличной женой, то в этом он видел подтверждение старой поговорки: «Добродетель в себе самой таит награду».

Он только что кончил наклеивать объявление, а оправдательные документы, касавшиеся всего, что сделала и этот день Клеменси, спрятал под замок, в шкаф для посуды, – все время посмеиваясь над деловыми способностями жены, – и тут она сама вернулась с известием, что оба маленьких Бритена играют в каретном сарае под присмотром некоей Бетси, а маленькая Клем спит, «как картинка», после чего супруги уселись за столик пить чай, поджидавший прихода хозяйки. Они сидели в маленькой, очень опрятной буфетной, где, как и подобает, было множество бутылок и стаканов, где внушительные часы точно показывали время (половину шестого),

где все стояло на своем месте и было донельзя начищено и натерто.

– Первый раз присела за весь день, – сказала миссис Бритен, глубоко вздохнув с таким видом, словно она уселась на целый вечер, но немедленно вскочив, чтобы подать мужу чашку чаю и намазать ему хлеб маслом. – Это объявление так живо напомнило мне о прежних временах!

– А, – произнес мистер Бритен, держа блюдце, как устрицу, и, как устрицу, проглатывая его содержимое.

– Через этого самого мистера Майкла Уордна, – сказала Клеменси, мотнув головой в сторону объявления о продаже, – я потеряла место.

– И заполучила мужа, – добавил мистер Бритен.

– Да, тоже через него, – согласилась Клеменси, – и я премного благодарна ему за это.

– Человек – раб привычки, – сказал мистер Бритен, глядя на жену поверх своего блюдца. – Как-то так вышло, что я привык к тебе, Клем, ну и увидел, что не могу без тебя обойтись. Так что мы с тобой взяли да и поженились. Ха-ха! Мы с тобой! Кто бы мог подумать!

– Да уж, кто бы мог подумать? – вскричала Клеменси. – Это было очень благородно с твоей стороны. Бен.

– Ну, что ты! – возразил мистер Бритен с самоотверженным видом. – Тут и говорить не о чем.

– Нет, это так, Бен! – простодушно молвила его жена. – Я, право же, так думаю, и я очень тебе благодарна. Ах! –

Она снова взглянула на объявление. – Ты помнишь, когда узнали, что она ушла, моя милочка, и даже след ее простыл, я не смогла удержаться и все рассказала, столько же ради нее, сколько ради них; да и можно ли было удержаться?

– Во всяком случае, ты все рассказала, – заметил ее муж.

– А доктор Джедлер, – продолжала Клеменси, поставив на стол свою чашку и задумчиво глядя на объявление, – в горе и гневе выгнал меня из дому! За всю свою жизнь я ничем так не была довольна, как тем, что не сказала ему тогда ни одного дурного слова и что не было у меня к нему никакого дурного чувства даже в то время; а ведь потом он сам искренне раскаялся. Как часто он сидел в этой комнате и все твердил мне, что жалеет о своем поступке, и в последний раз это было как раз вчера, когда тебя не было дома. Как часто он сидел в этой самой комнате и часами говорил со мной о том о сем, притворяясь, будто это ему интересно, а на самом деле – только в память о былых днях и потому, что она любила меня, Бен!

– Да как же ты до этого додумалась, Клем? – спросил ее муж, удивленный тем, что она ясно осознала истину, которая лишь смутно мерещилась его пытливому уму.

– Право, не знаю, – ответила Клеменси, дую на чай, чтобы остудить его. – Не могу объяснить тебе это, даже пообещай ты мне награду в сто фунтов.

Мистер Бритен, возможно, продолжал бы обсуждать эту метафизическую тему, если бы Клеменси вдруг не увидела в

дверях за его спиной некий реальный факт в образе джентльмена, который носил плащ и сапоги, как все, кто путешествует верхом. Он как будто внимательно прислушивался к разговору и не спешил прервать его.

Тут Клеменси поспешно встала. Мистер Бритен тоже встал и поклонился гостю.

– Не хотите ли пройти наверх, сэр? Наверху есть очень хорошая комната, сэр.

– Благодарю вас, – сказал незнакомец, устремив пристальный взгляд на жену мистера Бритена. – Можно мне войти сюда?

– Конечно, сэр, войдите, если желаете, – ответила Клеменси, приглашая его войти. – Что вам будет угодно потребовать, сэр?

Незнакомец заметил объявление и начал читать его.

– Прекрасное имение, сэр, – заметил мистер Бритен.

Тот не ответил, но, кончив читать, обернулся и опять взглянул на Клеменси с таким же любопытством, как и раньше.

– Вы спросили меня... – начал он, не сводя с нее глаз.

– Что вам угодно заказать, сэр? – повторила Клеменси, поглядывая на него в свою очередь.

– Если вы дадите мне глоток эля, – ответил он, переходя к столу у окна, – и позвольте выпить его здесь, не мешая вашему чаепитию, я буду вам очень благодарен.

Не тратя лишних слов, он сел и начал смотреть в окно. Это

был стройный, хорошо сложенный человек во цвете лет. Лицо его, очень загорелое, было обрамлено густыми темными волосами, и он носил усы. Когда ему подали пиво, он налил себе стакан, любезно выпил за «процветание этого дома» и, поставив стакан на стол, добавил:

– Это новый дом, не правда ли?

– Не особенно новый, сэр, – ответил мистер Бритен.

– Ему лет пять или шесть, – сказала Клеменси, нарочито отчетливо произнося слова.

– Когда я вошел, мне показалось, что вы говорили о докторе Джедлере, – сказал незнакомец. – Это объявление напоминает мне о нем, потому что я случайно кое-что знаю о той истории, и по слухам и со слов одних моих знакомых... А что, старик жив?

– Да, он жив, сэр, – ответила Клеменси.

– Очень изменился?

– С каких пор, сэр? – спросила Клеменси необыкновенно подчеркнуто и выразительно.

– С тех пор, как его дочь... ушла.

– Да! С тех пор он очень изменился, – ответила Клеменси. – Он поседел и постарел и вообще уже не тот, что был, но, кажется, он теперь счастлив. С тех пор он помирился со своей сестрой и очень часто ездит к ней в гости. Это сразу же хорошо повлияло на него. Вначале он был совсем убит – прямо сердце кровью обливалось, когда, бывало, видишь, как он бродит и ропщет на жизнь; но спустя год-два он очень

изменился к лучшему и стал часто говорить о своей ушедшей дочери, хвалит ее, да и жизнь вообще тоже! И он без усталости твердит, со слезами на глазах, бедняга, какая она была красивая и хорошая. Он тогда уже простил ее. Это было примерно в то время, когда мисс Грейс вышла замуж. Помнишь, Бритен?

Мистер Бритен помнил это очень хорошо.

– Так, значит, сестра ее вышла замуж... – промолвил незнакомец. Немного помолчав, он спросил: – За кого?

Клеменси едва не опрокинула чайного подноса, так она разволновалась.

– Разве вы ничего не слыхали? – спросила она.

– Хотелось бы услышать, – ответил он, снова наполнив стакан и поднося его к губам.

– Ах! История это длинная, если рассказывать ее как следует, – сказала Клеменси и, опустив подбородок на левую ладонь, а правой рукой поддерживая левый локоть, покачала головой и, казалось, устремила взор назад, в прошлое, с тем же задумчивым выражением, с каким люди часто смотрят на огонь в очаге. – Это, право же, длинная история.

– А что, если рассказать ее вкратце? – предложил незнакомец.

– Если рассказать ее вкратце, – повторила Клеменси все тем же задумчивым тоном, как будто не обращаясь к собеседнику и не сознавая, что у нее есть слушатели, – что же тогда рассказывать? Что ее сестра и бывший жених горева-

ли вместе и вместе вспоминали о ней, как об умершей; что они очень жалели ее и никогда не осуждали; что они напоминали друг другу о том, какая она была, и оправдывали ее – вот и все! Но об этом все знают. Уж я-то знаю, во всяком случае. Кому и знать, как не мне, – добавила Клеменси, вытирая глаза рукой.

– И вот... – понукал ее незнакомец.

– И вот, – продолжала Клеменси, машинально подхватив его слова и не изменив ни позы, ни выражения лица, – и вот они в конце концов поженились. Они поженились в день ее рождения – этот день будет как раз завтра, – и свадьба была очень тихая, очень скромная, но живут они очень счастливо. Как-то раз вечером, гуляя по саду, мистер Элфред сказал: «Грейс, пусть день рождения Мэрьон будет днем нашей свадьбы». Так и сделали.

– Значит, они счастливы в браке? – спросил незнакомец.

– Да, – ответила Клеменси. – Счастливей и быть нельзя. Одно только это горе у них и есть.

Она подняла голову, как бы внезапно вернувшись к действительности, и быстро взглянула на незнакомца. Увидев, что он отвернулся к окну и, кажется, погрузился в созерцание расстилавшейся перед ним дали, она принялась делать отчаянные знаки своему супругу: то показывала пальцем на объявление, то шевелила губами, словно все вновь и вновь и весьма выразительно повторяя ему одно и то же слово или фразу. Она не издавала ни звука, а ее немые жесты, как и по-

что все ее движения вообще, были чрезвычайно своеобразны; поэтому непостижимое поведение жены довело мистера Бритена до отчаяния. Он таращил глаза на стол, на незнакомца, на ложки, на жену... следил за ее пантомимой взором, полным глубокого изумления и замешательства... спрашивал ее на том же немом языке, грозит ли опасность их имуществу, ему самому или ей... отвечал на ее знаки другими знаками, выражавшими глубочайшее волнение и смущение... следил за движениями ее губ, стараясь угадать ее слова, произносил вполголоса: «малый гордый?», «мак у лорда?», «мелкий орден?» и все-таки не мог догадаться, что нязано она хочет сказать.

В конце концов Клеменси отказалась от своих безнадежных попыток сообщить что-то мужу и, тихонько подвинув свой стул поближе к незнакомцу, сидела, как будто опустив глаза, но в действительности то и дело бросала на него внимательные взгляды, словно ожидая от него еще какого-нибудь вопроса. Ей не пришлось долго ждать, ибо он вскоре заговорил:

– А что произошло с девушкой, после того как она ушла? Ее родные, вероятно, знают об этом? Клеменси покачала головой.

– Я слышала, – сказала она, – будто доктор Джедлер, должно быть, знает о ней больше, чем говорит. Мисс Грейс получила письма от сестры, в которых та писала, что она здорова и счастлива и стала еще счастливее, когда узнала, что мисс

Грейс вышла замуж за мистера Элфреда; и мисс Грейс отвечала на эти письма. Но все-таки жизнь и судьба мисс Мэрьон окутаны тайной, которая не раскрыта до сих пор и которую... Она запнулась и умолкла.

– И которую? – повторил незнакомец.

– Которую, по-моему, только один-единственный человек мог бы раскрыть, – докончила Клеменси, часто дыша.

– Кто бы это мог быть? – спросил незнакомец.

– Мистер Майкл Уордн! – чуть не взвизгнула Клеменси, тем самым напрямик высказав мужу то, что перед этим лишь старалась дать ему понять, и одновременно показывая Майклу Уордну, что его узнали. – Вы помните меня, сэр? – спросила Клеменси, дрожа от волнения. – Я сейчас поняла, что помните! Вы помните меня в тот вечер в саду? Ведь это я была с нею.

– Да. Это были вы, – подтвердил он.

– Я самая, сэр, – подхватила Клеменси. – Никто, как я. А это, позвольте вам представить, мой муж. Бен, милый Бен, беги к мисс Грейс... беги к мистеру Элфреду. – беги куда-нибудь. Бен! Приведи сюда кого-нибудь, да поскорей!

– Стойте! – сказал Майкл Уордн, спокойно становясь между дверью и Бритеном. – Что вы хотите делать?

– Хочу, чтоб они узнали, что вы здесь, сэр! – вне себя ответила Клеменси, хлопая в ладоши. – Хочу сказать им, что они могут услышать о ней из ваших собственных уст; хочу уверить их, что она не совсем потеряна для них, что она вер-

нется домой обрадовать отца и любящую сестру... и даже свою старую служанку, даже меня, – тут Клеменси ударила себя в грудь обеими руками, – и даст нам взглянуть на ее милое личико! Беги, Бен, беги!

И она по-прежнему толкала его к выходу, а мистер Уордн по-прежнему загораживал дверь, вытянув руку, не рассерженный, но печальный.

– Или, может быть, – сказала Клеменси, проносясь мимо мужа и в волнении хватая мистера Уордна за плащ, – может быть, она уже здесь, может быть, она тут, рядом? Судя по вашему виду, так оно и есть. Дайте же мне взглянуть на нее, сэр, прошу вас! Я нянчила ее, когда она была ребенком. Я видела, как она выросла и стала гордостью всей нашей округи. Я звала ее, когда она была невестой мистера Элфреда. Я старалась предостеречь ее, когда вы соблазнили ее уйти. Я знаю, каким был ее старый родной дом, когда она была его душою, и до чего он изменился с тех пор, как она ушла и пропала. Пожалуйста, сэр, дайте мне поговорить с нею!

Он смотрел на нее сострадательно и немного удивленно, но ничем не выразил своего согласия.

– Она, наверное, и не знает, – продолжала Клеменси, – как искренне они простили ее, как все родные любят ее, как рады они будут увидеть ее опять. Пожалуй, ей боязно вернуться домой. Может быть, она осмелеет, когда увидит меня. Только скажите мне правду, мистер Уордн, она с вами?

– Нет. – ответил он, покачав головой.

Этот ответ, и все его поведение, и черный костюм, и таинственное возвращение, и объявленное во всеуслышание намерение остаться за границей объясняли все. Мэрьон умерла!

Он не противоречил; значит, она умерла! Клеменси села, уронила голову на стол и заплакала.

В этот миг в комнату вбежал седовласый пожилой джентльмен, который совсем запыхался и дышал с таким трудом, что голос его едва можно было признать за голос мистера Снич.

– Господи, мистер Уордн! – воскликнул поверенный, отводя в сторону Майкла. – Каким ветром принесло... – Но его самого, должно быть, принесло сюда столь сильным ветром, что он не мог продолжать, и лишь после небольшой паузы закончил слабым голосом: – ...вас сюда?

– Недобрым ветром, к сожалению, – ответил Майкл Уордн. – Если бы вы слышали, о чем здесь говорили... если бы вы знали, как меня просили и умоляли совершить невозможное... какое смятение и горе я ношу в себе!

– Я догадываюсь обо всем этом. Но зачем вы вообще сюда пришли, дорогой сэръ? – спросил Снич.

– Зачем пришел! Как мог я знать, кто арендует этот дом? Я послал к вам своего слугу, потом сам зашел сюда, потому что этот дом показался мне незнакомым, а мне, естественно, любопытно видеть все – и новое и старое – в родных местах; к тому же я хотел снестись с вами раньше, чем покажусь в

городе. Я хотел знать, что будут говорить люди обо мне. По вашему лицу я вижу, что вы можете сказать мне это. Если бы не ваша проклятая осторожность, я уже давно вступил бы во владение своим имуществом.

– Наша «осторожность»! – проговорил поверенный. – Буду говорить за себя и за Крегса – покойного. – Мистер Снич бросил взгляд на траурную ленту своей шляпы и покачал головой. – Как можете вы осуждать нас, мистер Уордн? Ведь мы условились, что никогда больше не будем поднимать этот вопрос, ибо он был не такого рода, чтобы серьезные и трезвые люди вроде нас (я тогда записал ваше выражение) могли в него вмешиваться. Наша «осторожность» – подумать только! Когда мистер Крегс, сэр, сошел в свою почитаемую могилу, искренне веря...

– Я дал торжественное обещание молчать до своего возвращения, когда бы я ни вернулся, – перебил его мистер Уордн, – и сдержал обещание.

– Так вот, сэр, я повторяю, – продолжал мистер Снич, – что мы тоже обязались молчать. Мы обязались молчать из чувства долга по отношению к себе самим и по отношению к своим многочисленным клиентам, к вам в том числе, а вы были очень скрытны. Не нам было расспрашивать вас относительно столь деликатного предмета. Я кое-что подозревал, сэр; но только шесть месяцев назад узнал правду и убедился, что вы потеряли Мэрьон.

– От кого вы узнали? – спросил клиент.

– От самого доктора Джедлера, сэр, – он в конце концов по своему почину доверил мне эту тайну. Он, он один знал всю правду уже несколько лет.

– И вы знаете ее? – спросил клиент.

– Знаю, сэр! – ответил Снич. – И у меня есть основания думать, что правду откроют старшей сестре завтра вечером. Ей обещали это. А пока вы, может быть, окажете мне честь пожаловать ко мне домой, ибо в вашем доме вас не ждут. Но чтобы вам опять не попасть в неловкое положение, если вас узнают (хотя вы очень изменились, возможно я и сам не узнал бы вас, мистер Уордн), нам, пожалуй, лучше пообедать здесь и уйти вечером. Здесь можно отлично отобедать, мистер Уордн, и кстати сказать, этот дом принадлежит вам. Я и Крегс (покойный), мы иногда заказывали себе здесь отбивные котлеты, и нас прекрасно кормили. Мистер Крегс, сэр, – сказал Снич, на мгновение крепко зажмурив глаза и снова открыв их, – был вычеркнут из списков жизни слишком рано.

– Простите, что я не выразил вам соболезнования, – отозвался Майкл Уордн, проводя рукой по лбу, – но сейчас я точно во сне. Мне нужно собраться с мыслями. Мистер Крегс... да... мне очень жаль, что вы потеряли мистера Крегса. – Но, говоря это, он смотрел на Клеменси и, видимо, сочувствовал Бену, утешавшему ее.

– Для мистера Крегса, сэр, – заметил Снич, – жизнь оказалась, к сожалению, не столь простой, как это выходило по

его теории, иначе он до сих пор был бы среди нас. Для меня это огромная потеря. Он был моей правой рукой, моей правой ногой, моим правым глазом, моим правым ухом – вот кем был для меня мистер Крегс. Без него я парализован. Свой пай в деле он завещал миссис Крегс, ее управляющим, уполномоченным и доверенным. Его имя осталось в нашей фирме до сих пор. Иногда я, как ребенок, пытаюсь делать вид, что он жив. Вы, быть может, заметили, что я обычно говорю за себя и за Крегса-покойного, сэр... покойного, – промолвил чувствительный юрист, вынимая носовой платок.

Майкл Уордн, все время наблюдавший за Клеменси, повернулся к мистеру Сничу, когда тот умолк, и шепнул ему что-то на ухо.

– Ах, бедняжка! – сказал Сничу, качая головой. – Да, она всегда была так предана Мэрьон. Она всегда любила ее от всего сердца. Прелестная Мэрьон! Бедная Мэрьон! Развеселитесь, миссис... теперь вас можно так называть, теперь вы замужем, Клеменси.

Клеменси только вздохнула и покачала головой.

– Полно, полно! Подождите до завтра, – мягко проговорил поверенный.

– Завтра не может вернуть мертвых к жизни, мистер, – всхлипывая, промолвила Клеменси.

– Да, этого «завтра» не может, иначе оно вернуло бы покойного мистера Крегса, – отозвался поверенный. – Но завтра могут обнаружиться кое-какие приятные обстоятельства;

может прийти некоторое утешение. Подождите до завтра!

И Клеменси, пожимая его протянутую руку, сказала, что подождет; а Бритен, совсем упавший духом при виде своей расстроенной жены (ему уже мерещилось, что и все его дела пришли в расстройство), сказал, что это правильно, после чего мистер Спичи и Майкл Уордн пошли наверх и там вскоре начали беседовать, но так тихо, что голоса их были не слышны за стуком тарелок и блюд, шипением жира на сковороде, бульканьем в кастрюлях, глухим монотонным скрежетом вертела (прерывавшимся по временам страшным щелканьем: казалось, вертел в приступе головокружения смертельно поранил себе голову) и прочими кухонными шумами предобеденных приготовлений.

Следующий день выдался ясный, безветренный, и нигде осенние краски не были так хороши, как в тихом плодовом саду, окружавшем докторский дом. Снега многих зимних ночей растаяли на этой земле, увядшие листья многих летних дней отшуршали на ней с тех пор, как Мэрьон бежала. Крыльцо, обвитое жимолостью, зеленело снова, деревья отбрасывали на траву густые изменчивые тени, все окружающее казалось спокойным и безмятежным, как всегда; но где же сейчас была сама Мэрьон?

Не здесь... Не здесь... И будь она здесь, в своем старом родном доме, это показалось бы еще более странным, чем вначале казался этот дом без нее. Но на ее прежнем месте сидела женщина, чья любовь никогда не покидала Мэ-

рьон, в чьей преданной памяти она оставалась неизменной – юной, сияющей, окрыленной самыми радужными надеждами; в чьем сердце (теперь это было сердце матери – ведь рядом с женщиной играла ее обожаемая дочка), – в чьем сердце она жила, не имея ни соперников, ни преемников; на чьих нежных губах сейчас трепетало ее имя.

Душа далекой девушки глядела из этих глаз – из глаз Грейс, ее сестры, сидевшей вместе со своим мужем в саду в годовщину их свадьбы и дня рождения Элфреда и Мэрьон.

Элфред не сделался великим человеком; он не разбогател; он не забыл родных мест и друзей своей юности; он не оправдал ни одного из давних предсказаний доктора. Но когда он тайно и неустанно делал добро, посещая жилища бедняков, сидел у одра больных, повседневно видел расцветающие на окольных тропинках жизни кротость и доброту – не раздавленные тяжелой стопой нищеты, но упруго выпрямляющиеся на ее следах и скрашивающие ее путь, – он с каждым годом все лучше познавал и доказывал правильность своих прежних убеждений. Жизнь его, хоть она и была тихой и уединенной, показала ему, как часто люди и теперь, сами того не ведая, принимают у себя ангелов, как и в старину, и как самые, казалось бы, жалкие существа – даже те из них, что на вид гадки и уродливы и бедно одеты, – испытав горе, нужду и страдания, обретают просветление и уподобляются добрым духам с ореолом вокруг головы.

Быть может, такая вот жизнь его на изменившемся поле

битвы была более ценной, чем если бы он, не зная покоя, состязался с другими на пути тщеславия; и он был счастлив со своей женой, милой Грейс.

А Мэрьон? Или он забыл ее?

– С тех пор время летело быстро, милая Грейс, – сказал он (они только что говорили о памятной ночи), – а между тем кажется, будто это случилось давным-давно. Мы ведем счет времени по событиям и переменам внутри нас. Не по годам.

– Однако уже и годы прошли с того дня, как Мэрьон покинула нас, – возразила Грейс. – Шесть раз, милый мой муж, считая сегодняшней, сидели мы здесь в день ее рождения и говорили о ее радостном возвращении, – ведь мы так страстно ожидали его, а оно все откладывалось. Ах, когда же она вернется? Когда?

Глаза ее наполнились слезами, а муж внимательно взглянул на нее и, подойдя ближе, сказал:

– Но, милая, Мэрьон писала тебе в прощальном письме, которое она оставила на твоём столе, а ты перечитывала так часто, что пройдут многие годы, прежде чем она сможет вернуться. Ведь так?

Грейс вынула письмо, спрятанное у нее на груди, поцеловала его и сказала:

– Да.

– Она писала, что все эти годы, как бы она ни была счастлива, она будет мечтать о том времени, когда вы встретитесь и все разъяснится; она умоляла тебя ждать этого, веря

и надеясь, что ты послушаешься ее. Ведь так написано в том письме, не правда ли, милая?

– Да, Элфред.

– И в каждом письме, написанном ею с тех пор?

– Не считая последнего, которое я получила несколько месяцев назад: в нем она говорит о тебе и добавляет, что ты знаешь нечто такое, о чем я узнаю сегодня вечером.

Он посмотрел на солнце, быстро опускавшееся к горизонту, и сказал, что тайну ей откроют на закате.

– Элфред! – промолвила Грейс и с серьезным лицом положила ему руку на плечо, – в этом письме, в этом старом письме, которое, как ты сказал, я перечитывала так часто, написано еще кое-что; об этом я никогда не говорила тебе. Но нынче, милый мой муж, когда назначенный час близок и вся наша жизнь как будто умиротворяется и затихает вместе с угасающим днем, я не могу хранить это в тайне.

– Что же это, милая?

– Уходя, Мэрьон написала мне в прощальном письме, что когда-то ты поручил ее мне, а теперь она поручает мне тебя, Элфред. При этом она просила и умоляла меня, ради моей любви к ней и к тебе, не отвергать тех чувств, которые, как она думала (знала, по ее словам), ты перенесешь на меня, когда свежая рана заживет, просила не отвергать их, но поощрять и ответить на них взаимностью.

– И тем самым вернуть мне гордость и счастье, Грейс. Так она написала?

– Она хотела сказать, что это я буду счастлива и горда твоей любовью, – ответила ему жена, и он обнял ее.

– Слушай, что я скажу тебе, милая! – промолвил он. – Нет, слушай меня вот так! – И он нежно прижал ее поднятую голову к своему плечу. – Я знаю, почему я до сих пор ничего не слыхал об этих строках, я знаю, почему до сих пор ни намека на них не было ни в одном твоём слове или взгляде. Я знаю, почему мою Грейс, хоть она и была мне верным другом, оказалось так трудно склонить на брак со мной. И, зная это, родная моя, я знаю, как драгоценно то сердце, что сейчас бьется на моей груди!..

Он прижимал ее к сердцу, а она плакала, но не от горя. Немного помолчав, он опустил глаза, взглянул на девочку, которая сидела у их ног, играя корзиночкой с цветами, и сказал ей:

– Посмотри на солнышко. Какое оно золотое и красное!

– Элфред! – сказала Грейс, быстро поднимая голову при этих словах. – Солнце заходит. Ты не забыл о том, что я должна узнать, прежде чем оно зайдет?

– Ты узнаешь правду о Мэрьон, дорогая моя, – ответил он.

– Всю правду, – с мольбой проговорила она. – Не надо больше ничего скрывать от меня. Ты это обещал. Ведь так?

– Да, – ответил он.

– В день рождения Мэрьон, прежде чем зайдет солнце. А ты видишь, Элфред? Оно вот-вот зайдет.

Он обвил рукой ее талию и, пристально глядя ей в глаза,

промолвил:

– Не я должен открыть тебе правду, милая Грейс. Ты услышишь ее из других уст.

– Из других уст? – едва слышно повторила она.

– Да. Я знаю твое верное сердце, я знаю, как ты мужественна, я знаю, что одного слова достаточно, чтобы тебя подготовить. Ты права: час настал. Пора! Скажи мне, что сейчас у тебя хватит твердости перенести испытание... неожиданность... потрясение, ибо вестник ждет у ворот.

– Какой вестник? – проговорила она. – И какие вести он несет?

– Я дал слово не говорить ничего больше, – ответил он, не отрывая от нее глаз. – Ты, быть может, понимаешь меня?

– Боюсь понять, – ответила она. Лицо его отражало такое волнение, хотя глаза казались спокойными, что это испугало ее. Вся дрожа, она снова прижалась лицом к его плечу и умоляла его подождать хоть минуту.

– Мужайся, милая моя жена! Если ты достаточно тверда, чтобы встретить вестника, вестник ждет у ворот. Сегодня день рождения Мэрьон, и солнце уже заходит. Мужайся, мужайся, Грейс!

Она подняла голову и, глядя на него, сказала, что теперь готова. И когда она стояла и смотрела вслед уходящему мужу, лицо ее было так похоже на лицо Мэрьон, каким оно было в последние дни перед ее уходом, что это казалось каким-то чудом. Элфред увел с собой дочку. Грейс позвала ее

(девочка была тезкой далекой сестры) и прижала к своей груди. Но вот мать отпустила ее, и девочка побежала за отцом, а Грейс осталась одна.

Она не знала, чего боялась и на что надеялась, но стояла, не двигаясь с места и не отрывая глаз от крыльца, на которое поднялись ее муж и дочка перед тем, как войти в комнаты.

Ах, кто это выступил из темного входа в дом и стал на пороге? Эта девушка в белом платье, шуршащем на вечернем ветерке, эта головка, лежащая на груди отца и прижавшаяся к его любящему сердцу! О боже! Что это? Видение? Или это Мэрьон, живая, с криком вырвалась из объятий старика и, протянув руки, переполненная беспредельной любовью, устремилась к Грейс и бросилась в ее объятия?

– О Мэрьон, Мэрьон! О сестра моя! О любовь моего сердца! О радость, невыразимая радость и счастье снова встретиться с тобой!

Да, это был не сон, не призрак, вызванный надеждой и страхом, но сама Мэрьон, чудесная Мэрьон! Такая прекрасная, такая счастливая, такая не тронутая ни заботами, ни испытаниями, полная такой возвышенной и вдохновенной прелести, что в этот миг, когда заходящее солнце ярко осветило ее лицо, она казалась духом, посетившим землю с благой вестью.

Прижимаясь к сестре, упавшей на скамью, Мэрьон склонилась над нею, улыбаясь сквозь слезы, потом стала на колени, обняв ее обеими руками, и, ни на мгновение не сводя

глаз с ее лица, озаренная золотым светом заходящего солнца, окутанная тишиной вечера, наконец заговорила, и голос ее был спокоен, тих, ясен и нежен, как этот вечерний час.

– Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь...

– Постой, любимая моя! Одно мгновение! О Мэрьюн, вновь услышать твой голос!

В первую минуту Грейс была просто не в силах слышать этот столь любимый голос.

– Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь, я всей душой любила Элфреда. Я любила его преданно. Я готова была умереть за него, хотя была еще такой юной. В тайниках сердца я никогда не изменяла своей любви к нему, ни на мгновение. Она была мне дороже всего на свете. Хотя это было так давно, и теперь все это уже в прошлом и вообще все изменилось, но мне нестерпима мысль, что ты, которая умеешь так любить, можешь подумать, будто я не любила его искренне. Никогда я не любила его так глубоко, Грейс, как в тот час, когда он уезжал из этого дома в день нашего рождения. Никогда я не любила его так глубоко, милая, как в ту ночь, когда сама ушла отсюда!

Сестра, склонившись над нею, смотрела ей в лицо и сжимала ее в своих объятиях.

– Но, сам того не ведая, – продолжала Мэрьюн с нежной улыбкой, – он завоевал другое сердце раньше, чем я поняла, что готова отдать ему свое... Это сердце – твое, сестра моя! –

было так переполнено нежностью ко мне, так преданно, так благородно, что тайло свою любовь и сумело скрыть эту тайну от всех глаз, кроме моих (нежность и благодарность ведь обострили мое зрение), и это сердце радовалось, жертвуя собой мне. Но я знала о том, что тайлось в его глубине. Я знала, какую борьбу оно вынесло, знала, как неизмеримо драгоценно оно для Элфреда и как Элфред почитает его при всей своей любви ко мне. Я знала, в каком я долгу перед этим сердцем. Каждый день я видела перед собой достойный пример. Я знала: то, что ты сделала для меня, Грейс, я могу сделать для тебя, если захочу. Ни разу я не легла спать, не помолившись со слезами о том, чтобы сделать это. Ни разу я не легла спать, не вспомнив о том, что говорил Элфред в день своего отъезда и как верно он сказал (ибо это я знала, зная тебя), что борющиеся сердца каждый день одерживают такие победы, в сравнении с которыми победы на обычных полях битв кажутся совершенно ничтожными. И когда я все больше и больше думала о той великой битве, про которую он говорил, и о том, какое великое терпение мужественно проявляется в ней, тайно от всех, каждый день и каждый час, мой искус казался мне светлым и легким. И тот, кто сейчас видит наши сердца, дорогая, и знает, что в моем сердце нет ни капли горечи и страдания, нет ничего, кроме чистейшего счастья, тот помог мне решить, что я никогда не выйду за Элфреда. Он будет мужем Грейс и моим братом, говорила я себе, если путь мой приведет к этому счастливому концу;

но никогда (О Грейс, как я тогда любила его), никогда я не стану его женой!

– О Мэрьон! О Мэрьон!

– Я пыталась казаться равнодушной к нему, – и Мэрьон прижала лицо сестры к своему, – но это мне удавалось с трудом, а ты всегда была его верной сторонницей. Я пыталась даже сказать тебе о своем» решении, но знала, что ты и слушать меня не станешь; ты не смогла бы меня понять. Близилось время его возвращения. Я почувствовала, что мне нужно действовать, прежде чем мы снова станем видеться каждый день. Я понимала, что лучше покончить разом, – лучше одно внезапное потрясение, чем долгие муки для всех нас. Я знала, что, если я уеду, все будет так, как получилось теперь, а ведь это сделало нас обоих такими счастливыми, Грейс! Я написала доброй тете Марте и попросила ее дать мне приют – в то время я не сказала ей всего о себе, но кое-что объяснила, и она охотно согласилась. Когда я уже принимала это решение и внутренне боролась с собой и с любовью к тебе и родному дому, мистер Уордн случайно попал сюда и временно поселился у нас.

– В последние годы я иногда со страхом думала, что не ради него ты ушла! – воскликнула старшая сестра, и лицо ее мертвенно побледнело. – Ты никогда не любила его и вышла за него замуж, жертвуя собой ради меня!

– В то время, – сказала Мэрьон, притянув к себе сестру, – он собирался тайно уехать на долгий срок. Покинув наш дом,

он написал мне письмо, в котором откровенно рассказал о своих делах и планах на будущее и сделал мне предложение. По его словам, он видел, что я без радости жду возвращения Элфреда. Мне кажется, он думал, что сердце мое не участвовало в нашей помолвке с Элфредом, или думал, что я когда-то любила его, но потом разлюбила... а когда я старалась казаться равнодушной, он, возможно, считал, что я стараюсь скрыть свое равнодушие... не знаю. Но мне хотелось, чтобы ты считала меня навсегда потерянной для Элфреда, безнадежно утраченной... умершей для него! Ты понимаешь меня, милая?

Сестра внимательно смотрела ей в лицо. Казалось, ею овладели сомнения.

– Я увиделась с мистером Уордном и положила на его честь; а накануне нашего отъезда открыла ему свою тайну. Он сохранил ее. Ты понимаешь меня, дорогая?

Грейс в смущении смотрела на нее. Она как будто ничего не слышала.

– Милая моя, сестра моя, – промолвила Мэрьон, – сосредоточься хоть на минутку и выслушай меня! Не смотри на меня так странно. Дорогая моя, есть края, где женщины, решив отказаться от неудачной любви или бороться с каким-нибудь глубоким чувством и победить его, уходят в безнадежное уединение и навсегда отрекаются от мира, земной любви и надежд. Тогда эти женщины принимают имя, столь дорогое нам с тобой, и называют друг друга «сестра-

ми». Но есть и другие сестры, Грейс: они живут в широком, не огражденном стенами мире, под вольным небом, в людных местах и, погруженные в суету жизни, стараясь помогать людям, ободрять их и делать добро, приобретают тот же опыт, что и первые, и хотя сердца их по-прежнему свежи и юны и открыты для счастья и путей к счастью, они могут сказать, что битва для них давно кончилась, победа давно одержана. И одна из них – я! Понимаешь ты меня теперь?

Грейс все так же пристально смотрела на нее, не отвечая ни слова.

– О Грейс, милая Грейс, – промолвила Мэрьон, еще нежней и ласковей прижимаясь к груди, от которой была отторгнута так долго, – не будь ты счастливой женой и матерью, не будь у меня здесь маленькой тетки, не будь Элфред – мой милый брат – твоим любимым мужем, откуда снизошло бы ко мне то блаженство, которое я чувствую теперь? Но какой я ушла отсюда, такой и вернулась. Сердце мое не знало иной любви, и руки своей я не отдавала никому. Я девушка, я все та же твоя незамужняя и не помолвленная сестра, твоя родная, преданная Мэрьон, которая любит тебя одну, Грейс, любит безраздельно!

Теперь Грейс поняла сестру. Лицо ее разгладилось, она облегченно зарыдала и, бросившись Мэрьон на шею, все плакала и плакала и ласкала ее, как ребенка.

Немного успокоившись, они увидели, что доктор и его сестра, добрая тетя Марта, стоят поблизости вместе с Элфре-

дом.

– Сегодня печальный день для меня, – проговорила добрая тетя Марта, улыбаясь сквозь слезы и целуя племянниц. – Я принесла счастье всем вам, но потеряла свою дорогую подругу; а что вы можете дать мне взамен моей Мэрьон?

– Обращенного брата, – ответил доктор.

– Да, это, конечно, чего-нибудь стоит, – сказала тетя Марта, – в таком фарсе, как...

– Пожалуйста, не надо, – произнес доктор покаянным тоном.

– Хорошо, не буду! – согласилась тетя Марта. – Но я считаю себя обиженной. Не знаю, что со мной будет без моей Мэрьон, после того как мы с нею прожили вместе целых шесть лет.

– Переезжай сюда и живи с нами, – ответил доктор. – Теперь мы не будем ссориться, Марта.

– А то выходите замуж, тетушка, – сказал Элфред.

– И верно, – подхватила старушка, – пожалуй, не сделать ли предложение Майклу Уордну, который, как я слышала, вернулся домой и после долгого отсутствия изменился к лучшему во всех отношениях. Но вот беда – я знала его еще мальчишкой, а сама я в то время была уже не первой молодости, так что он, чего доброго, не ответит мне взаимностью! Поэтому лучше уж мне поселиться у Мэрьон, когда она выйдет замуж, а до тех пор (могу вас уверить, что ждать придется недолго) я буду жить одна. Что ты на это скажешь, братец?

– Мне очень хочется сказать, что наш мир совершенно нелеп, и в нем нет ничего серьезного, – заметил бедный старый доктор.

– Можешь хоть двадцать раз утверждать это под присягой, Энтони, – возразила ему сестра, – никто не поверит, если посмотрит тебе в глаза.

– Зато наш мир полон любящих сердец! – сказал доктор, обнимая младшую дочь и склоняясь над нею, чтобы обнять Грейс, так как он был не в силах различить сестер, – и это серьезный мир, несмотря на всю его глупость, в том числе и мою, а моей глупостью можно было бы наводнить весь земной шар. И всякий раз, как над этим миром восходит солнце, оно видит тысячи бескровных битв, которые искупают несчастье и зло, царящие на полях кровавых битв; а мы должны осторожно судить о мире, да простит нам небо, ибо мир полон священных тайн, и один лишь создатель его знает, что таится в глубине его самого скромного образа и подобия!

Вряд ли неискусное мое перо доставит вам более полное удовольствие, если я опишу подробно и представлю вашему взору блаженство этой семьи, некогда распавшейся, а теперь воссоединенной. Поэтому я не стану рассказывать, как смиренно вспоминал бедный доктор о горе, которое он испытал, когда потерял Мэрьон, и не буду говорить о том, какой серьезной ему теперь казалась жизнь, в которой каждый человек наделен крепко укоренившейся в нем любовью, а также о том, что такой пустяк, как выпадение одной ничтожной еди-

ницы из огромного нелепого итога поразило доктора в самое сердце. Не буду рассказывать и о том, как сестра, сострадав его отчаянию, давно уже мало-помалу открыла ему правду, помогла понять сердце дочери, добровольно ушедшей в изгнание, и привела его к этой дочери.

Не расскажу и о том, как Элфреду Хитфилду сказали правду в этом году, как Мэрьон увиделась с ним и обещала ему, как брату, что в день ее рождения Грейс, наконец, узнает все из ее уст.

– Простите, доктор, – сказал мистер Снич, заглянув в сад, – нельзя ли мне войти?

Но он не стал дожидаться ответа, а подошел прямо к Мэрьон и радостно поцеловал ей руку.

– Будь мистер Крегс еще жив, дорогая мисс Мэрьон, – сказал мистер Снич, – он проявил бы большой интерес к этому событию. Быть может, он подумал бы, мистер Элфред, что наша жизнь, пожалуй, не так проста, как он полагал, и что не худо бы нам упрощать ее по мере сил – ведь мистера Крегса нетрудно было убедить, сэр. Он охотно поддавался убеждению. Но если он охотно поддавался убеждению, то я... Впрочем, это слабость. Миссис Снич, душенька (на этот призыв из-за двери появилась миссис Снич), вы среди старых друзей.

Миссис Снич, поздравив всех присутствующих, отвела своего супруга в сторону.

– На минуточку, мистер Снич! – сказала она. – Не в моем

характере тревожить прах усопших.

– Совершенно верно, душенька, – подтвердил ее супруг.

– Мистер Крегс...

– Да, душенька, он скончался, – сказал Снич.

– Но я спрашиваю вас, – продолжала его супруга, – помните ли вы тот день, когда здесь устроили вечеринку? Только об этом я и спрашиваю. Если вы его не забыли, и если память не изменила вам окончательно, мистер Снич, и если вы не совсем ослеплены своей привязанностью, я прошу вас сопоставить сегодняшний день с тем днем, прошу вспомнить, как я тогда просила и умоляла вас на коленях...

– Уж и на коленях, душенька! – усомнился мистер Снич.

– Да, – подтвердила миссис Снич убежденным тоном, – и вы это знаете. Я умоляла вас остерегаться этого человека... обратить внимание на его глаза... а теперь я прошу вас сказать, была я права или нет, и знал ли он в то время тайны, о которых не хотел говорить вам, или не знал?

– Миссис Снич, – шепнул ей на ухо супруг – а вы, сударыня, тогда заметили что-нибудь в моем взгляде?

– Нет! – резко проговорила миссис Снич. – Не обольщайтесь.

– А ведь в ту ночь, сударыня, – продолжал он, дернув ее за рукав, – мы оба знали тайны, в которые не хотели никого посвящать, и были осведомлены о них в связи со своими профессиональными обязанностями. Итак, чем меньше вы будете говорить об этом, тем лучше, миссис Снич, и пусть

это послужит вам предостережением и побудит вас впредь быть умнее и добрее. Мисс Мэрьон, я привел с собой одну близкую вам особу. Пожалуйте сюда, миссис!

Прикрыв глаза передником, бедная Клеменси медленно подошла в сопровождении своего супруга, совершенно удрученного тяжелым предчувствием: ему казалось, что если же на его предается отчаянию, «Мускатной терке» конец.

– Ну, миссис, – произнес поверенный, остановив Мэрьон, бросившуюся к Клеменси, и став между ними, – что с вами такое?

– Что со мной! – вскричала бедная Клеменси.

Но вдруг, изумленная, негодующая и к тому же взволнованная громким возгласом мистера Бритена, она подняла голову и, увидев совсем близко от себя милое незабвенное лицо, впилась в него глазами, всхлипнула, рассмеялась, расплакалась, взвизгнула, обняла Мэрьон, крепко прижала ее к себе, выпустила из своих объятий, бросилась на шею мистеру Сничу и обняла его (к великому негодованию миссис Снич), бросилась на шею доктору и обняла его, бросилась на шею мистеру Бритену и обняла его и, наконец, обняла себя самое, накинув передник на голову и разрыдавшись под его прикрытием.

Вслед за мистером Сничу в сад вошел какой-то незнакомец, и все это время стоял поодаль у калитки, никем не замеченный, ибо все наши герои были так поглощены собой, что ни на что другое у них внимания не хватало, а если какое

и оставалось, то было целиком посвящено восторгам Клеменси. Незнакомец, должно быть, и не желал, чтобы его заметили – он стоял в стороне, опустив голову, и хотя на вид был молодец, казался совершенно подавленным, что особенно бросалось в глаза на фоне всеобщего ликования.

Увидели его только зоркие глаза тети Марты, и, едва заметив его, она тотчас же заговорила с ним. Вскоре она подошла к Мэрьон, стоявшей рядом с Грейс и своей маленькой тезкой, и что-то шепнула ей на ухо, а Мэрьон вздрогнула и как будто удивилась, но, быстро оправившись от смущения, застенчиво подошла к незнакомцу вместе с тетей Мартой и тоже заговорила с ним.

– Мистер Бритен, – сказал между тем поверенный, сунув руку в карман и вынув из него какой-то документ, по-видимому юридический, – поздравляю вас: теперь вы – полноправный и единоличный собственник арендуемого вами недвижимого имущества, точнее – дома, в котором вы в настоящее время живете и содержите разрешенную законом таверну или гостиницу и который носит название «Мускатная терка». Ваша жена потеряла один дом, а теперь приобретает другой, и все это благодаря моему клиенту мистеру Майклу Уордну. В один из этих прекрасных дней я буду иметь удовольствие просить вашего голоса для поддержки нашего кандидата на выборах⁶.

⁶ ...просить вашего голоса для поддержки нашего кандидата на выборах. – Избирательным правом в то время пользовались только домовладельцы или квар-

– А если изменить вывеску, это не повлияет на голосование, сэр? – спросил Бритен.

– Ни в малейшей степени, – ответил юрист.

– Тогда, – сказал мистер Бритен, возвращая ему дарственную запись, – будьте добры, прибавьте к названию гостиницы слова: «и наперсток», а я прикажу написать оба изречения на стене в гостиной – вместо портрета жены.

– И позвольте мне, – послышался сзади них чей-то голос (это был голос незнакомца, а незнакомец оказался Майклом Уордном), – позвольте мне рассказать, какое доброе влияние оказали на меня эти изречения. Мистер Хитфилд и доктор Джедлер, я готов был тяжко оскорбить вас обоих. Не моя заслуга, что этого не случилось. Не скажу, что за эти шесть лет я стал умнее или лучше. Но, во всяком случае, я за это время познал, что такое угрызения совести. У вас нет оснований относиться ко мне снисходительно. Я злоупотребил вашим гостеприимством; однако впоследствии осознал свои заблуждения – со стыдом, которого никогда не забуду, но, надеюсь, и с некоторой пользой для себя, – осознал благодаря той, – он взглянул на Мэрьон, – которую смиренно молил о прощении, когда понял, какая она хорошая и как я недостойн ее. Через несколько дней я навсегда покину эти места. Я прошу вас простить меня. «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой! Прощай обиды, не помни зла!»

Время, от которого я узнал, чем окончилась эта повесть и с которым имею удовольствие быть лично знакомым вот уже тридцать пять лет, сообщило мне, небрежно опираясь на свою косу, что Майкл Уордн никуда не уехал и не продал своего дома, но вновь открыл его и радушно принимает в нем гостей, а жену его, красу и гордость всей округи, зовут Мэрьон. Но, как я уже заметил, Время иногда перепутывает события, и я не знаю, насколько ему можно верить.